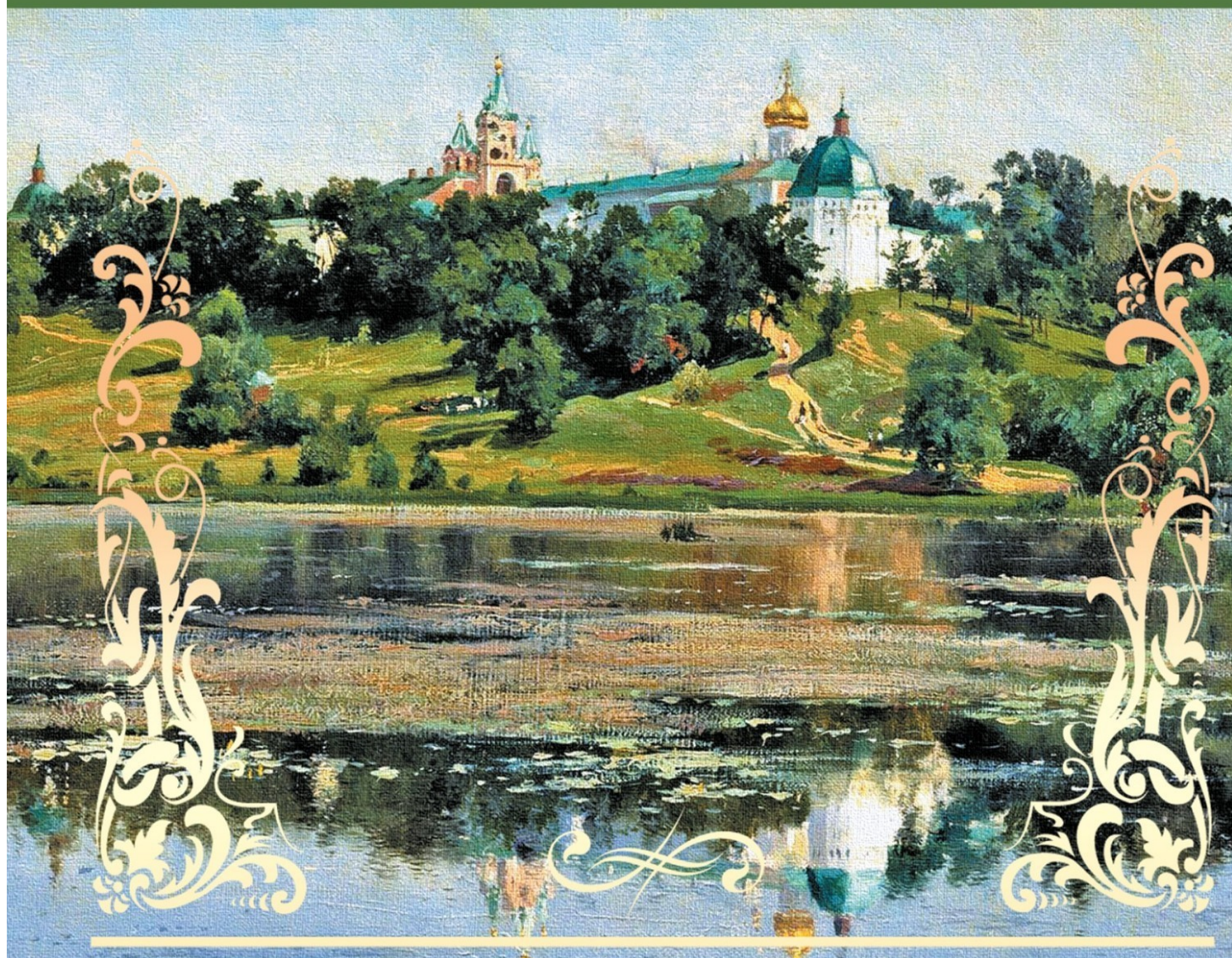


100 великих романов

Николай ЛЕСКОВ

СОБОРЯНЕ



100 великих романов

Николай Лесков

Соборяне

«ВЕЧЕ»

1872

Лесков Н. С.

Соборяне / Н. С. Лесков — «ВЕЧЕ», 1872 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-7918-2

Это произведение Николая Семеновича Лескова (1831–1895) по праву считают одним из лучших его творений. Он и сам признавал: «Это, может быть, единственная моя вещь, которая найдет себе место в истории нашей литературы». Герои книги в нашем понимании старомодны, это представители православного духовенства, но, как и нас, их волнуют вечные вопросы бытия, «заповедные» нравственные ценности. И сегодня актуальны слова протопопа Савелия Туберозова о том, что наступил «век, сам себя стыдящийся, век прозы, вздыхающий от поэзии и отмечающий ее, – век, издевающийся над тем, чему бы хотел поклоняться»

ISBN 978-5-4484-7918-2

© Лесков Н. С., 1872

© ВЕЧЕ, 1872

Содержание

«Самый русский из русских писателей»	6
Часть первая	9
Глава первая	9
Глава вторая	12
Глава третья	18
Глава четвертая	21
Глава пятая	25
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Николай Семенович Лесков

Соборяне

© Клех И.Ю., вступительная статья, 2018

© ООО «Издательство „Вече“», 2018

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

«Самый русский из русских писателей»



Именно так вслед за Львом Толстым охарактеризовал Николая Лескова (1831–1895) критик Святополк-Мирский, аргументируя это так: «Самое поразительное и оригинальное у Лескова – это русский язык. Его современники писали и старались писать ровным и гладким языком, избегая слишком ярких или сомнительных оборотов. Лесков же жадно хватал каждое неожиданное или живописное идиоматическое выражение».

Таким образом, это суждение указывало не столько на редкостное знание Лесковым условий жизни русского народа, сколько на стиль его рассказов и повестей, вошедших по праву в золотой фонд художественной литературы и «русский канон», значимый не только для литературы, но и для культуры и русской цивилизации в целом: «Левша», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда», «Железная воля», «Заячий ремиз» и др.

Ситуация такая же примерно, как с Мопассаном, чьи рассказы несравненно сильнее его романов. Лесков тоже написал полдюжины романов, из которых сегодня серьезный интерес представляют только «Соборяне». Более того, два его ранних антиинигилистических романа («Некуда» и «На ножах») фактически сломали ему если не жизнь, то карьеру. Слева его заклевывали до полусмерти либеральные «голуби», а справа терзали пригревшие «стервятники» – реакционеры, пытаясь приспособить для достижения собственных целей. Тогда как он был, по существу, всего лишь честным, умным и безмерно талантливым внуком попа и сыном семинариста, ставшего следователем по уголовным делам. А как раз из поповичей и разночинцев вербовалось литературное пополнение времен отмены крепостного права, и мало кто из них не поддавался обольщению вульгарным материализмом и политическим радикализмом. Лесков же был внепартийным одиночкой, оттого и мучился при жизни. Зато и любят посмертно таких литераторов не только у нас – за их неподкупность. А вот партийные (по-русски: частичные) критики и сегодня винят лесковского «Левшу» то в квасном патриотизме, то в клевете на русский народ, а его самого то в ортодоксальности, то в антиклерикализме.

Оттого и получилось, что «Соборяне» сложились в окончательном виде только в «третьем тиснении», по выражению Лескова, когда он с грехом пополам увернулся как от нападков «голубей» (Некрасов: «Да разве мы не ценим Лескова? Мы ему только ходу не даем»), так и от объятий «ястребов» (Катков: «Мы ошибаемся: этот человек не наш!»). Поначалу им затеялась «романическая хроника» о житье-бытье соборных священнослужителей в некоем уездном Старгороде «Чающие движения воды» (Евангелие от Иоанна, гл. 5, ст. 2–4): вот слетит ангел с небес к святому источнику, возмутит воду, и очнется Русь – исцелится от раскола и смуты и восстанет к новой праведной жизни! Знакомые многим и сегодня ожидания. Не сразу из этой хроники пророс и выстроился роман. В нем нет еще лесковской «сказовой» манеры повествования, но уже заметно мастерство речевой характеристики персонажей, и комизм, гротеск, и смачный анекдот проклевываются уже и набирают силу. Задним числом этот роман выглядит несколько эклектичным – для современного читателя просвечивают за ним поздний Гоголь и ранний Достоевский, зрелый Щедрин и утопичный Платонов. Тем не менее это увлекательнейшее чтение: как бы история в лицах и положениях размывания прежней Руси в предреформенной России (особенно в дневниковой «Демикотоновой книге протопопа Туберозова»). В идейном отношении картина еще интереснее, поскольку этот с виду бытописательный и нравоучительный роман на самом деле роман идеологический (как у Достоевского после каторги), главные герои которого – протопоп Савелий Туберозов и дьякон Ахилла Десницын – приобретают былинный масштаб. Да и целый ряд второстепенных персонажей, позитивных и негативных, чудо как хорош. Что заставляет нас пошевелить мозговыми извилинами, чтобы те не выпрямились и закоснели согласно тем или иным партийным предписаниям.

Знаменитая фраза Ахматовой, что «христианство еще на Руси не проповедано», если кто не знает еще, – это цитата из «Соборян». В конце жизни Лесков тесно сошелся с Толстым и толстовцами и даже стал идейным вегетарианцем, хотя его не могла не смущать гордыня толстовского учения (есть у него статья с характерным названием «Граф Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как ересиархи» в защиту обоих писателей от нападков; Лесков был еще и изрядным публицистом). Хотя бы потому, что, по поговорке «нет перед Богом праведника», ему дорога была совестливая, смиренная и сострадательная сторона русской души: «О моя мягко-

сердечная Русь, как ты прекрасна!» – другая цитата из «Соборян», за которую недолюбливавший Лескова Достоевский признал в нем родственную душу.

Лесков был на редкость широко мыслящим человеком и мятущимся христианином. Уже через несколько лет он признавался, что «не написал бы „Соборян“ так, как они написаны», ибо «сделался „перевертнем“ и не жгу фимиама многим старым богам». Вот и хорошо, что успел написать их так, как написал.

Игорь Клевх

Часть первая

Глава первая

Люди, жите-бытие которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки.

Это – протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старгородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужем уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопы и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопы совсем черны и круто заломанными латинскими S-ами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопы Савелия, которую он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною.

Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие буколки серожелтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышинный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно неможнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу и телесную подвижность.

Третий и последний представитель старгородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет нелишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:

– Эка ты дубина какая, протяженно сложенная!

Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря, и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил:

– Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров.

Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным».

– Бас у тебя, – говорил регент, – хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что чрез эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного».

Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности: мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомерность» баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это – «увлекательностью». Так он, например, во всюнощной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят Господь Бог наш», а нередко вырывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было предвидеть, против «увлекательности» Ахиллы благоразумно принимались меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самого дьякона и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопогребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». В один большой из двенадцатых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах: «и скорбьми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот: он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение преосвященным и перед всею губернской аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны: «уязвлен, уязвлен, уязвлен», и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» пред всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющ стоит с нотами в руках огромных Ахилла! Его надо было срисовать – пером нельзя его описывать... Вот уже прошли знакомые форшлагги, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло «уязвлен» и, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку... Ахилла позабыл весь мир и себя самого и удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: «И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-н, уязвлен». Силой останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в «увлекательной» голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящей к его благословию аристократией, словно труб-

ный глас с неба с клироса снова упал вдруг: «Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают – он поет; его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей, – он поет: «уязвлен»; его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет: «у-я-з-в-л-е-н».

– Что тебе такое? – спрашивают его с участием сердобольные люди.

– «Уязвлен», – воспевают, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей приотвора, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экзальтацию.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефактовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже далеко за сорок, и по смоляным черным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок, но при всем этом весьма приятен; тип лица имеет южный и говорит, что происходит из мало-российских казаков, от коих он и в самом деле как будто унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.

Глава вторая

Жили все эти герои старомодного покроя на старгородской поповке, над тихою судоходною рекой Турицей. У каждого из них, как и у Захарии и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самом берегу, как раз насупротив высившегося за рекой старинного пятиглавого собора с высокими куполами. Но как разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краской, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамлялись еще резными, ярко же раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату, любил лунный луч, полосой газета ложившийся на его разделанный под паркет пол.

В домике у отца протопоба всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядок у него некому. Он бездетен, и это составляет одну из непреходящих скорбей его и его протопобицы.

У отца Захарии Бенефактова домик гораздо больше, чем у отца Туберозова; но в бенефактовском домике нет того щегольства и кокетства, которым блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга опирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого Бог благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка: на всем здесь лежали следы детских запачканных лапок; из всякого угла торчала детская головенка; и все это шевелилось детьми, все здесь и пищало и пело о детях, начиная с запечных сверчков и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!
Куда мне вас дети?
Где вас положить?

Дьякон Ахилла был вдов и бездетен и не радел ни о стяжаниях, ни о домостроительстве. У него на самом краю Заречья была мазаная малороссийская хата, но при этой хате не было ни служб, ни заборов, словом, ничего, кроме небольшой жердяной карды, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то ворона кобылица. Убранство в доме Ахиллы тоже было чисто казачье: в лучшей половине этого помещения, назначавшейся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатой спинкой; этот диванчик заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казачкою кошмой, а в изголовье лежал чеканенный азиатский седельный орчак, к которому была прислонена маленькая блинообразная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Пред этим казачьим ложем стоял белый липовый стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок успения Богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкой и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной, жила у него отставная старая горничная помещичьего дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою.

Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, восторрылая, сморщенная, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила себе места нигде и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота и самое крайнее раздражение своей старой служанки в решительные минуты прекращал только громовым: «Эсперанса, провались!» После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватит ее на руки, посадит на крышу своей хаты и оставит там, не снимая, от зари до зари. Ввиду этого страшного наказания Эсперанса боялась противоречить своему казаку-господину.

Все эти люди жили такую жизнью и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли не богатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая протопопица чтילה его и не слыхала в нем души. Отец Захария также был счастлив в своем птичнике. Не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гулянье по городу, или в выезде и в мене своих коней, или, наконец, порой в дразнении и в укрощении своей «услужавшей Эсперансы».

Савелий, Захария и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумений, благотельно будящими человеческие натуры, усыпляемые бездействием уездной жизни. Нет, бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют нам многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и переносил их. Бывали и у них недоразумения. Так, например, однажды помещик и местный предводитель дворянства, Алексей Никитич Плодомасов, возвратясь из Петербурга, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки и между прочим три трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородским духовенством как библейские змеи, которых кинули пред фараона египетские кудесники.

– Сим подарением тростей на нас наведено сомнение, – рассказывал дьякон Ахилла.

– Да в чем же вы тут, отец дьякон, видите сомнение? – спрашивали его те, кому он жаловался.

– Ах, да ведь вот вы, светские, ничего в этом не понимаете, так и не утверждайте, что нет сомнения, – отвечал дьякон, – нет-с! тут большое сомнение!

И дьякон пускался разьяснять это специальное горе.

– Во-первых, – говорил он, – мне, как дьякону, по сану моему такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь, – это раз. Повторительно, я его теперь, этот посох, ношу, потому что он мне подарен, – это два. А в-третьих, во всем этом сомнительная одностойность: что отцу Савелию, что Захарии одно и то же, одинаковые посошки. Зачем же так сравнивать их?... Ах, помилуйте же вы, зачем?... Отец Савелий... вы сами знаете... отец Савелий... он умница, философ, министр юстиции, а теперь, я вижу, что он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

– Да чем же он тут может быть смущен, отец дьякон?

– А тем смущен, что, во-первых, от этой совершенной одностойности происходит смешанность. Как вы это располагаете, как отличить, чья эта трость? Извольте теперь их разбирать, которая отца протопопы, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но, положим, на этот бы счет для разборки можно какую-нибудь заметочку положить – или сургучом под головкой прикапнуть, или сделать ножом на дереве нарезочку; но что же вы подделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них прошв другой цену или достоинство ее отнять, когда они обе одностойны? Помилуйте вы меня, ведь это невозможно, чтоб и отец протопоп и

отец Захария были одностойны. Это же не порядок-с! И отец протопоп это чувствует, и я это вижу-с и говорю: «Отец протопоп, больше ничего в этом случае нельзя сделать, как позволите, я на отца Захариину трость сургучную метку положу или нарезку сделаю». А он говорит: «Не надо! Не смей, и не надо!» Как же не надо? «Ну, говорю, благословите: я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей ножом слегка на вершок урежу, так что отец Захария этого сокращения и знать не будет», но он опять: «Глуп, говорит, ты!..» Ну, глуп и глуп, не впервой мне это от него слышать, я от него этим не обижаюсь, потому он заслуживает, чтоб от него снести, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен, и мне от этого пребеспокойно... И вот скажите же вы, что я трижды глуп, – восклицал дьякон, – да-с, позволяю вам, скажите, что я глуп, если он, отец Савелий, не сполитикует. Это уж я наверно знаю, что мне он на то не позволяет, а сам сполитикует.

И дьякон Ахилла, по-видимому, не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старгородскому соборному духовенству упомянутых наводящих сомнение посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, в качестве благочинного, частенько ездил в консисторию. Никто и не толковал о том, зачем протопоп едет. Но вот отец Туберозов, уже усевшись в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:

– А послушай-ка, отче, где твоя трость? Дай-ка ты мне ее, я ее свезу в город.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг как бы озарило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефактову:

– А что-с! Я вам говорил: вот и политика!

– Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? – спросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария, отстраняя дьякона.

– Для чего? А вот я там, может быть, покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят, – отвечал Туберозов.

– Алеша, беги, принеси посошок, – послал домой сынишку отец Захария.

– Так вы, может быть, отец протопоп, и мою трость тоже свозите показать? – спросил, сколь умел мягче, Ахилла.

– Нет, ты свою пред собою содержи, – отвечал Савелий.

– Что ж, отец протопоп, «пред собою»? И я же ведь точно так же... тоже ведь и я предводительского внимания удостоился, – отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не почтил его претензии никаким ответом и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захарии, поехал.

Туберозов ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла, оставаясь дома, томился разрешением себе загадки: зачем протопоп отобрал трость у Захарии?

– Ну что тебе? Что тебе до этого? что тебе? – останавливал Захария мятущегося любопытством дьякона.

– Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

– Ну а если и сполитикует, а тебе что до этого? Ну и пусть его сполитикует.

– Да я нестерпимо любопытен предвидеть, в чем сие будет заключаться. Урезать он мне вашу трость не хотел позволить, сказал: глупость; метки я ему советовал положить, он тоже и это отвергнул. Одно, что я предвижу...

– Ну, ну... ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

– Одно, что... он непременно драгоценный камень вставит.

– Да! ну... ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

– В рукоять.

– Да в свою или в мою?

– В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень, ведь это драгоценность.

– Да ну, а мою же трость он тогда зачем взял? В свою камень вставлять будет, а моя ему на что?

Дьякон ударил себя рукой по лбу и воскликнул:

– Одурачился!

– Надеюсь, надеюсь, что одурачился, – утверждал отец Захария, добавив с тихой укоризной: – А еще ведь ты, братец мой, логике обучался; стыдно!

– Что же за стыд, когда я ей обучался, да не мог понять! Это со всяким может случиться, – отвечал дьякон и, не высказывая уже более никаких догадок, продолжал тайно сгорать любопытством – что будет?

Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла-дьякон, объезжавший в это время вымененного им степного коня, первый заметил приближение к городу протоиерейской черной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь пред открытыми окнами знакомых домов, крича: «Едет! Савелий! едет наш поп велий!» Ахиллу вдруг осенило новое соображение.

– Теперь знаю, что такое! – говорил он окружающим, спешиваясь у протопоповских ворот. – Все эти размышления мои до сих пор предварительные были не больше как одною глупостью моею; а теперь я наверное вам скажу, что отец протопоп кроме ничего как просто велел вытравить литеры греческие, а не то так латинские. Так, так, не иначе как так; это верно, что литеры вытравил, и если я теперь не отгадал, то сто раз меня дураком после этого назовите.

– Погоди, погоди, и назовем, и назовем, – частил в ответ ему отец Захария, в виду остановившейся у ворот протопоповской кибитки.

Отец протопоп вылез из кибитки важный, солидный; вошел в дом, помолился, повидался с женой, поцеловал ее при этом три раза в уста, потом поздоровался с отцом Захарией, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и, наконец, и с дьяконом Ахиллой, причем дьякон Ахилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания началось чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей, и вечер уступил место ночи, а отец протопоп и не заикнулся об интересующих всех посохах. День, другой и третий прошел, а отец Туберозов и не заговаривает об этом деле, словно сvez он посохи в губернию да там их оба по реке спустил, чтоб и речи о них не было.

– Вы же хоть полюбопытствуйте! спросите! – беспрестанно зудил во все дни отцу Захарии нетерпеливый дьякон Ахилла.

– Что я буду его спрашивать? – отвечал отец Захария. – Нешто я ему не верю, что ли, что стану отчет требовать, куда дел?

– Да все-таки ради любознательности спросить должно.

– Ну и спроси, зуда, сам, если хочешь ради любознательности.

– Нет, вы, ей-богу, со страху его не спрашиваете.

– С какого это страху?

– Да просто боитесь; а я бы, ей-богу, спросил. Да и чего тут бояться-то? спросите просто: а как же, мол, отец протопоп, будет насчет наших тростей? Вот только всего и страху.

– Ну, так вот ты и спроси.

– Да мне нельзя.

– А почему нельзя?

– Он меня может оконфузить.

– А меня разве не может?

Дьякон просто сгорал от любопытства и не знал, что бы такое выдумать, чтобы завести разговор о тростях; но вот, к его радости, дело разрешилось, и само собою. На пятый или на шестой день по возвращении своем домой отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на чай и городничего, и смотрителя училищ, и лекаря, и отца Захарию с дьяконом Ахил-

лой и начал опять рассказывать, что он слышал и что видел в губернском городе. Прежде всего отец протопоп довольно пространно говорил о новых постройках, потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение ко владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался: «акведуков».

– Акведуки эти, – говорил отец протопоп, – будут ни к чему, потому город малый, и притом тремя реками пересекается; но магазины, которые все вновь открываются, нечто весьма изящное начали представлять. Да вот я вам сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства...

И с этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держа в каждой руке по известной всем трости.

– Вот видите, – сказал он, поднося к глазам гостей верхние площадки золотых набалдашников.

Ахилла-дьякон так и воззрился, что такое сделано политиканом Савелием для различения одностойных тростей; но увь! ничего такого резкого для их различия не было заметно. Напротив, одностойность их даже как будто еще увеличилась, потому что посредине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырезано окруженное сиянием всевидящее око; а вокруг ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная надпись.

– А литер, отец протопоп, нет? – заметил, не утерпев, Ахилла.

– К чему здесь тебе литеры нужны? – отвечал, не глядя на него, Туберозов.

– А для отличения их одностойности?

– Все ты всегда со вздором лезешь, – заметил отец протопоп дьякону и при этом, приставив одну трость к своей груди, сказал: – Вот эта будет моя.

Ахилла-дьякон быстро глянул на набалдашник и прочел около всевидящего ока: «Жезл Ааронов расцвел».

– А вот это, отец Захария, будет тебе, – закончил протопоп, подавая другую трость Захарии.

На этой вокруг такого же точно всевидящего ока такую же точно древлеславянской вязью было вырезано: «Даде в руку его посох».

Ахилла как только прочел эту вторую подпись, так пал за спину отца Захарии и, уткнув голову в живот лекаря, заколотился и задергался в припадках неукротимого смеха.

– Ну что, зуда, что, что? – частил, обернувшись к нему, отец Захария, между тем как прочие гости еще рассматривали затейливую работу резчика на иерейских посохах. – Литеры? А? литеры, баран ты этакой кучерявый? Где же здесь литеры?

Но дьякон не только нимало не сконфузился, но опять порскнул и закатился со смеху.

– Чего смеешься? чего помираешь?

– Это кто ж баран-то выходит теперь? – спросил, едва выговаривая слова, дьякон.

– Да ты же, ты. Кто же еще баран?

Ахилла опять залился, замотал руками и, изловив отца Захария за плечи, почти сел на него медведем и театральным шепотом забубнил:

– А вы, отец Захария, как вы много логике учились, так вы вот это прочитайте: «Даде в руку его посох». Нуте-ка, решите по логике: чему такая надпись соответствует!

– Чему? Ну говори, чему?

– Чему-с? А она тому соответствует, – заговорил протяжнее дьякон, – что дали, мол, дескать, ему линейкой палю в руку.

– Врешь.

– Вру! А отчего же вон у него «жезл расцвел»? А небось ничего про то, что в руку дано, не обозначено? Почему? Потому что это сделано для превозвышения, а вам это для унижения черкнуго, что, мол, дана палка в лапу.

Отец Захария хотел возразить, но и вправду слегка смутился. Дьякон торжествовал, наведя это смущение на тихого отца Бенефактова; но торжество Ахиллы было непродолжительным.

Не успел он оглянуться, как увидел, что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил, что дьякон уже достаточно сконфузился, как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал:

– Надписи эти, которые вы видите, я не сам выдумал, а это мне консисторский секретарь Афанасий Иванович присоветовал. Случилось нам, гуляя с ним пред вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афанасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какая мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают, вот вам этакую: «Жезл Ааронов», а отцу Захарии вот этакую очень пристойно, какая теперь значит. А тебе, отец дьякон... я и о твоей трости, как ты меня просил, думал сказать, но нашел, что лучше всего, чтобы ты с нею вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит...

При этом отец протопоп спокойно подошел к углу, где стояла знаменитая трость Ахиллы, взял ее и запер ключом в свой гардеробный шкаф.

Такова была величайшая из распрей на старогородской поповке.

– Отсюда, – говорил дьякон, – было все начало болезням моим. Потому что я тогда не стерпел и озлобился, а отец протопоп Савелий начал своею политикой еще более уничтожать меня и довел даже до ярости. Я свирепел, а он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику, пока я даже осатаневать стал.

Это был образчик мелочности, обнаруженной на старости лет протопопом Савелием, и легкомысленности дьякона, навлекшего на себя гнев Туберозова; но как Москва, говорят, от копеечной свечи сторела, так и на старогородской поповке вслед за этим началась целая история, выдвинувшая наружу разные недостатки и превосходства характеров Савелия и Ахиллы.

Дьякон лучше всех знал эту историю, но рассказывал ее лишь в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройств, раскаяний и беспокойств, и потому когда говорил о ней, то говорил нередко со слезами на глазах, с судорогами в голосе и даже нередко с рыданиями.

Глава третья

– Мне, – говорил сквозь слезы взволнованный Ахилла, – мне по-настоящему, разумеется, что бы тогда следовало сделать? Мне следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я это, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству сказал, а единственно лишь чтобы только доказать отцу Захарии, что я хоть и без логики, но ничем его не глупей. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мне стало, что он мою трость в шкаф запер, а потом после того учитель Варнавка Препотенский еще подоспел и подгадил... Ах, я вам говорю, что уже сколько я на самого себя зол, но на учителя Варнавку вдвое! Ну, да и не я же буду, если я умру без того, что я этого просвирниного сына учителя Варнавку не возвошу!

– Опять и этого ты не смеешь, – останавливал Ахиллу отец Захария.

– Отчего же это не смею? За безбожие-то да не смею? Ну, уж это извините-с!

– Не смеешь, хоть и за безбожие, а все-таки драться не смеешь, потому что Варнава был просвирнин сын, а теперь он чиновник, он учитель.

– Так что, что учитель? Да я за безбожие кого вам угодно возделаю. Это-с, батюшка, закон, а не что-нибудь. Да-с, это очень просто кончается: замотал покрепче руку ему в аксиосы, потряс хорошенько, да и выпустил, и ступай, мол, жалуйся, что бит духовным лицом за безбожие... Никуда не пойдет-с! Но Боже мой, Боже мой! как я только вспомню да подумаю – и что это тогда со мною поделалось, что я его, этакого негодивца Варнавку, слушал и что даже до сего дня я еще с ним как должно не расправился! Ей, право, не знаю, откуда такая слабость у меня? Ведь вон тогда Сергея-дьячка за рассуждение о громе я сейчас же прибил; комиссара Данилку мещанина за едение яиц на улице в прошедший великий пост я опять тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухам оттрепал, а вот этому просвирнину сыну все до сих пор спускаю, тогда как я этим Варнавкой более всех и уязвлен! Не будь его, сей распри бы не разыграться. Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарией, но все бы это не было долговременно; а этот просвирнин сын Варнавка, как вы его нынче сами видеть можете, учитель математики в уездном училище, мне тогда, озлобленному и уязвленному, как подтолдыкнул: «Да это, говорит, надпись туберозовская еще, кроме того, и глупа». Я, знаете, будучи уязвлен, страх как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю: чем же глупа? А Варнавка говорит: «Тем и глупа, что еще самый факт-то, о котором она гласит, недостоверен; да и не только недостоверен, а невероятен. Кто это, говорит, засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое дерево разве может расцвести?» Я было его на этом даже остановил и говорю: «Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильич, не говори, потому что Бог иде же хочет, побеждается естества чин»; но при этом, как вся эта наша раcea у акцизничихи у Бизюкиной происходила, а там всё это разные возлияния да вино все хорошее: все го-го, го-сотерн да го-марго, я... прах меня возьми, и надрызгался. Я, изволите понимать, в винном угаре, а Варнавка мне, знаете, тут мне по-своему, по-ученому торочит, что «тогда ведь, говорит, вон и *мани факел фарес* было на пиру Вальтасаровом написано, а теперь, говорит, ведь это вздор; я вам могу это самое сейчас фосфорною спичкой написать». Ужасаюсь я; а он все дальше да больше: «Да там и во всем, говорит, бездна противоречий...» И пошел, знаете, и пошел, и все опровергает; а я все это сижу да слушаю. А тут опять еще эти го-марго, да уж и достаточно даже сделался уязвлен и сам заговорил в вольнодумном штиле. «Я, говорю, я, если бы только не видел отца Савелиевой прямо, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу, а то бы я его...» Это, понимаете, на отца Савелия-то! И к чему-с это; к чему это я там в ту пору о нем заговорил? Ведь не глупец ли? Ну, а она, эта Данка Нефалимка, Бизюкина-то, говорит: «Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? что такое, говорит, ваш Авель? Он больше ничего как маленький барашек, он низкопоклонный искатель, у него раб-

ская натура, а Каин гордый деятель – он не помирится с жизнью подневольною. Вот, говорит, как его английский писатель Бирон изображает...» Да и пошла-с мне расписывать! Ну, а тут все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вот вдруг чувствую, что хочу я быть Каином, да и шабаш. Вышел я оттуда домой, дошел до отца Протопопова дома, стал пред его окнами и вдруг подперся по-офицерски в боки руками и закричал: «Я царь, я раб, я червь, я Бог!» Боже, Боже: как страшно вспомнить, сколь я был бесстыж и сколь же я был за то в ту ж пору постыжен и уязвлен! Отец протопоп, услышав мое козлогласие, вскочили с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, гневным голосом крикнули: «Ступай спать, Каин неистовый!» Верите ли: я даже затрепетал весь от этого слова, что я «Каин», потому, представьте себе, что я только собирался в Каины, а он уже это провидел. Ах, Боже! Я отошел к дому своему, сам следов своих не разумеючи, и вся моя стропотность тут же пропала, и с тех пор и доныне я только скорблю и стенаю.

Повторив этот рассказ, дьякон обыкновенно задумывался, поникал головой и через минуту, вздохнув, продолжал мягким и грустным тоном:

– Но вот-с дни бегут и текут, а гнев отца протопопа не проходит и до сего дня. Я приходил и винулся; во всем винулся и каялся, говорил: «Простите, как Бог грешников прощает», но на все один ответ: «Иди». Куда? я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстерша Тимониха мне все советует: «В полк, говорит, отец дьякон, идите, вас полковые любить будут». Знаю я это, что полковые очень могут меня любить, потому что я и сам почти воин; но что из меня в полку впоследствии, вы это обсудите? Ведь я там с ними в полку уж и действительно Каином сделаюсь... Ведь это, ведь я знаю, что все-таки один он, один отец Савелий еще меня и содержит в субординации, – а он... а он...

При этих словах у дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал:

– А он вот какую низкую штуку со мною придумал: чтобы молчать! Что я ни заговорю, он все молчит... За что же ты молчишь? – восклицал дьякон, вдруг совсем начиная плакать и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где полагал быть дому отца протопопа. – Хорошо, ты думаешь, это так делать, а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: «благослови, отче?» и, руку его целуя, чувствую, что даже рука его холодна для меня! Это хорошо? На Троицын день пред великою молитвой я, слезами обливаясь, прошу: «благослови...» А у него и тут умиления нет. «Буди благословен», говорит. Да что мне эта форменность, когда все это без ласковости!

Дьякон ожидал утешения и поддержки.

– Заслужи, – замечает ему отец Захария, – заслужи хорошенько, он тогда и с лаской простит.

– Да чем же я, отец Захария, заслужу?

– Примерным поведением заслужи.

– Да каким же примерным поведением, когда он совсем меня не замечает? Мне, ты, батя, думаешь, легко, как я вижу, что он скорбит, вижу, что он нынче в столь частой задумчивости. «Боже мой! – говорю я себе, – чего он в таком изумлении? Может быть, это он и обо мне...» Потому что ведь там, как он на меня ни сердись, а ведь он все это притворствует: он меня любит...

Дьякон оборачивался в другую сторону и, стуча кулаком по ладони, выговаривал:

– Ну, просвирнин сын, тебе это так не пройдет! Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Из одной этой угрозы читатели могут видеть, что некоему упоминаемому здесь учителю Варнаве Препотенскому со стороны Ахиллы-дьякона угрожала какая-то самая решительная опасность, и опасность эта становилась тем грознее и ближе, чем чаще и тягостнее Ахилла начинал чувствовать томление по своему потерянным рае, по утраченном благорасположении отца Савелия. И вот, наконец, ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы

Препотенского рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее с сим событием начало великой старгородской драмы, составляющей предмет нашей хроники.

Чтобы ввести читателя в уразумение этой драмы, мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица нашей повести – уйдем в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и близко и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица Божия, с медом на усладу человека. Но будем осторожны и деликатны: наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не тревожили задумчивого и грустного протопопа; положим сказочную шапку-невидимку себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного старца, и станем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим.

Глава четвертая

Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село. Нагорная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое Заречье утонуло в теплой мгле. По плывучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городке рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. Из далеких лесов доносится благотворная свежесть. На острове, который образуют рукава Турицы и на котором синее бакша кривоносого чудака, престарелого недоучки духовного звания, некоего Константина Пизонского, называемого от всех «дядей Котином», раздаются клики:

– Молвоша! где ты, Молвоша!

Это старик зовет резвого мальчишку, своего приемыша, и клики эти так слышны в доме протопопа, как будто они раздаются над самым ухом сидящей у окна протопопицы. Вот оттуда же, с той же бакши, несется детский хохот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидеть у окна, вскочила и выставила вперед руки. Ей показалось, что бегущее и хохочущее дитя сейчас же упадет к ней на колени. Но, оглянувшись вокруг, протопопица заметила, что это обман, и, отойдя от окна в глубину комнаты, зажгла на комодке свечу и кликнула небольшую, лет двенадцати девочку и спросила ее:

– Ты, Фёклинька, не знаешь ли, где наш отец протопоп?

– Он, матушка, у исправника в шашки играет.

– А, у исправника. Ну бог с ним, когда у исправника. Давай мы ему, Фёклушка, постель постелем, пока он воротится.

Фёклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое шерстяное одеяло; а мать протопопица внесла белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр. Постель была постлана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто; белый шлафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели; на шлафрок положен пунцовый фуляр. Когда эта часть была устроена, мать протопопица вдвоем с Фёклинькой придвинули к головам постели отца Савелия тяжелый, из карельской же березы, овальный стол на массивной тумбе, поставили на этот стол свечу, стакан воды, блюдо с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и тщательность, с которою они исполнялись, свидетельствовали о великом внимании протопопицы ко всем привычкам мужа. Только устроив все как следовало, по обычаю, она успокоилась, и снова погасила свечу и села одиноко к окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видеть, что она ожидает его беспокойно; этому и была причина: давно невеселый Туберозов нынче особенно хандрил целый день, и это тревожило его добрую подругу. К тому же он и устал: он ездил нынче на поля пригородных слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко вздремнул и пошел пройтись, но, как оказалось, зашел к исправнику, и теперь его еще нет. Ждет его маленькая протопопица еще полчаса и еще час, а его все нет. Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья послышалось чье-то довольно приятное пение. Мать протопопица прислушивается. Это поет дьякон Ахилла; она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает:

Ночною темнотою
Покрылись небеса;
Все люди для покою
Сомкнули очеса.

Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает:

Внезапно постучался
Мне в двери Купидон;
Приятный перервался
В начале самом сон.

Протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее мужа, и любит его пение. Она замечталась и не слышит, как дьякон взойшел на берег, и все приближается и приближается, и, наконец, под самым ее окошечком вдруг хватил с декламацией:

Кто там стучится смело?

Сквозь двери я спросил.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: «Ах!» и отскочила в глубь покоя.

Дьякон, услышав это восклицание, перестал петь и остановился.

– А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? – отнесся он к протопопице и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец и воскликнул:

– А у нас мир!

– Что? – переспросила протопопица.

– Мир, – повторил дьякон, – мир.

Ахилла повел по воздуху рукой и добавил:

– Отец протопоп... конец...

– Что ты говоришь, какой конец? – запыталась вдруг встревоженная этим словом протопопица.

– Конец... со мною всему конец... Отныне мир и благоволение. Ныне которое число? Ныне четвертое июня; вы так и запишите: *«Четвертого июня мир и благоволение»*, потому что мир всем и Варнавке учителю шабаш.

– Ты это что-то... вином от тебя не пахнет, а врешь.

– Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня четвертое июня, сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе так и запишите, что от этого дня у нас распочнется.

Дьякон еще приподнялся на локти и, втиснувшись в комнату по самый по пояс, зашептал:

– Вы ведь небось не знаете, что учитель Варнавка сделал?

– Нет, дружок, не слыхала, что такое еще он, негодивец, сотворил.

– Ужасная вещь-с! он человека в горшке сварил.

– Дьякон, ты это врешь! – воскликнула протопопица.

– Нет-с, сварил!

– Истинно врешь! – человека в горшок не всунешь.

– Он его в золяной корчаге сварил, – продолжал, не обращая на нее внимания, дьякон, – и хотя ему это мерзкое дело было дозволено от исправника и от лекаря, но тем не менее он теперь за это предается в мои руки.

– Дьякон, ты врешь; ты все это врешь.

– Нет-с, извините меня, даже ни одной минуты я не вру, – зачастил дьякон и, замотав головой, начал вырубать слово от слова чаще. – Извольте хорошенько слушать, в чем дело и какое его было течение: Варнавка действительно сварил человека с разрешения начальства, то есть лекаря и исправника, так как то был утопленник; но этот сваренец теперь его жестоко мучит и его мать, госпожу просвирню, и я все это разузнал и сказал у исправника отцу протопопу, и отец протопоп исправнику за это... того-с, по-французски, пробире-муа, задали, и исправник сказал: что я, говорит, возьму солдат и положу этому конец; но я сказал, что пока

еще ты возьмешь солдат, а я сам солдат, и с завтрашнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых и мучит мертвых. Да-с, сегодня четвертое июня, память преподобного Мефодия Песношского, и вы это запишите...

Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издалека с горы кашель отца протопопы.

– Во! грядет поп Савелий! – воскликнул, заслышав этот голос, Ахилла и, соскочив с фундамента на землю, пошел своею дорогой. Протопопица осталась у своего окна не только во мраке неведения насчет всего того, чем дьякон грозился учителю Препотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. Ей некогда было и раздумывать о нескладных речах Ахиллы, потому что она услышала, как скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий вступил в сени, в камилавке на голове и в руках с тою самою тростью, на которой было написано: «Жезл Ааронов расцвел».

Протопопица встала, разом засветила две свечи и из-под обеих зорко посмотрела на вошедшего мужа. Протопоп тихо поцеловал жену в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за несколько минут пред этим наговорил дьякон, и потому ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальней и где теперь была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столу, съел два сваренные для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потом они оба вставали, молились пред образом и непосредственно за тем оба начинали крестить, один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такою ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце; затем они расставались: протопоп уходил в свою гостиную и вскоре ложился. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня, но не лег в постель, а долго ходил по комнате, наконец притворил и тихо запер на крючок дверь в женину спальню.

– Отец Савелий, ты чего-то не в светлом духе? – спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие черты мужнина характера.

– Нет, друг, я спокоен, – отвечал протопоп.

– Тебе, отец Савелий, не подать ли на ночь чистый платочек? – осведомилась она, вскочив и приложив нос к створу двери.

– Платочек? да ведь ты в субботу дала мне платочек!

– Ну так что ж что в субботу?... Да отопритесь вы в самом деле, отец Савелий! Что это вы еще за моду такую взяли, чтоб от меня записаться?

Протопоп молча откинул крючок, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платок, и, пользуясь этим случаем, они с мужем снова начали прощаться и крестить друг друга тем же удивительным для непривычного человека способом и затем опять расстались. Дверь теперь оставалась отворенною: выяснилось, зачем старик непременно хотел ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть: прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре под шеей. В старике как бы совершалась некая борьба. При всем внешнем достоинстве его манер и движений он ходил шагами неровными, то несколько учащая их, как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их и, наконец, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось еще

с добрый час, прежде чем отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комоде с вытянутой доской. Из этого шкафа он достал Евгениевский «Календарь», переплетенный в толстый синий демикотон, с желтым юхтовым корешком, положил эту книгу на стоявшем у его постели овальном столе, зажег пред собою две экономические свечи и остановился: ему показалось, что жена его еще ворочается и не спит. Это так и было.

– Будешь читать, верно? – спросила его в эту минуту из-за стены своим тихим заботливым голосом Наталья Николаевна.

– Да, я, друг Наташа, немножко почитаю, – отвечал отец Туберозов, – а ты, одолжи меня, усни, пожалуй.

– Усну, мой друг, усну, – отвечала протопопица.

– Да, прошу тебя, пожалуй усни, – и с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими серебряными очками, начал медленно перелистывать свою синюю книгу. Он не читал, а только перелистывал эту книгу и притом останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственной рукой исписанные прокладные страницы. Все эти записки были сделаны разновременно и воскрешали пред старым протопопом целый мир воспоминаний, к которым он любил по временам обращаться.

Очутясь между протопопом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи.

Глава пятая

Демикотоновая книга протопопа Туберозова

Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположении меня *4 февраля 1831 года* преосвященным Гавриилом в иерея получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение». За первую надписью, совершенною в первый день иерейства Туберозова, была вторая: «Проповедовал впервые в соборе после архиерейского служения. Темой проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградаря. Один сказал: „не пойду“, и пошел, а другой отвечал: „пойду“, и не пошел. Свел сие к благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей небрегающих, давая сим тонкие намеки чинопочинам и властям. Говорил плавно и менее пышно, чем естественно. Владыка одобрили сию мою пробу пера. Однако же впоследствии его преосвященство призвал меня к себе и, одобряя мое слово вообще, в частности же указал, дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особливо же насчет чиновников, ибо от них-де чем дальше, тем и освященнее. Но за прошлое сказание не укорял и даже как бы одобрил.

1832 года, декабря 18-го, был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старгород, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.

1833 года, в восьмой день февраля, выехал с попадьей из села Благодухова в Старгород и прибыл сюда 12-го числа о заутрене. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение. Раскол силен. Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу по консисторской инструкции дело не важное, и о сем писал в консисторию и получил за то выговор».

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: «Получив замечание о бездеятельности, усматриваемой в недоставлении мною обильных доносов, оправдывался, что в расколе делается только то, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при сем добавил в сем рапорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности, и того для, по человеческой слабости, не противодейственно подкупам и даже само немало потворствует расколу, как и другие прочие оберегатели православия, приемля даяния раскольников. Заключение, что не с иного чего надо бы начать, к исправлению скорбей церкви, как с изъятия самого духовенства из-под тяжелой зависимости. Образцом сему показал раскольничьи сравнения синода с патриаршеством и сим надеялся и деятельность свою оправдать и очередной от себя донос отбыть, но за опыт сей вторично получил выговор и замечание и вызван к личному объяснению, при коем был назван „непочтительным Хамом, открывающим наготу отца“. Сие, надлежит подразумевать, удостоен был получить за то, что сознал, как бедное полуголодное духовенство само за неволю нередко расколу потворствует, и наипаче за то, что про синод упомянул... Простите, пожалуйста, кто обижен! В забвение вами мне сея великия вины вспомяну вам слова светского, но светлого писателя господина Татищева: „А голодный, хотя бы и патриарх был, кусок хлеба возьмет, особливо предложенный“. Вот и патриарху на орехи!»

Ниже, через несколько записей, значилось: «Был по делам в губернии и, представляясь владыке, лично ему докладывал о бедности причтов. Владыка очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам Господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным читать книгу „О подражании Христу“. На сие ничего его преосвященству не возражал, да и вотще было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать негде.

Политично за вечерним столом у отца соборного ключари сто раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что „бедному удобнее в царствие Божие внити“, что мы и без его благородия знали, а отец ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который впоследствии был знаменитым святителем и проповедником. Сей будто бы еще в мирском звании на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние, отвечивал:

– Имею, ваше преосвященство.

– А движимое или недвижимое? – спросил сей, на что онный отвечивал:

– И движимое и недвижимое.

– Что же такое у тебя есть движимое? – вновь спросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма.

– А движимое у меня дом в селе, – отвечивал вопрошаемый.

– Как так, дом движимое? Рассуди, сколь глуп ответ твой.

А тот, нимало сим не смущаясь, провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что коль скоро на него ветер подует, то он весь и движется.

Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиязуса за дурня уже не хотел почитать, а напротив, интересуясь им, еще спросил:

– Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?

– А недвижность моя, – отвечал студент, – матушка моя дьячиха да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, одна от старости, другая же от бескормицы.

Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способной тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.

Житие мое провожу в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противодействий ни малым чем, ибо всеми связан, и причтом своим полуголодным и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я как бы в посмешище с миссионерскою целию послан: проповедовать – да некому; учить – да не слушают! Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требуют. Владыко мой! к чему сии доносы? Что в них завертывать? А мне, по моему рассуждению, и сан мой не позволяет писать их. Я лучше чистой бумаги пожертвую...

Представлял рапортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундириваться еще пока ровно не на что; но всего что противнее, это сей презренный наглый и бесстыжий тон консисторский, с которым говорится: „А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?“ Нет, друже, не хочу, не хочу; поищите себе кормилицу подебелее.

13 октября 1835 года. Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром. *18 марта сего 1836 года*, попадья, Наталья Николаевна, намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай Господи нам сию радость! Ожидать в начале ноября.

9 мая, на день Св. Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное; а к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи

остервененно понуждаем баграми разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжело все это видеть: Господи! да, право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечером над разоренною молельной собирався народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали и, на конец того, начали даже искать объятий и унии.

10 мая. Были большие со стороны начальства ошибки. Пред полуночью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитою молельной. Все мы собрались и видим, точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая „мучителя фараона“ и крича: „Господь поборает вере мучимой; и ветер свещей не гасит“; другие кивали на меня и вопили: „Подай нам нашу речистую покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье“. Я только указал городничему, сколь неосторожно было сие его распоряжение о разорении, и срывании крестов, и отобрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.

12 мая. Франтовство одолело: взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводительщины и послал их в город окрасить в масака цвет, как у губернского протоиерея, и сошью себе рясу шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя не намерен.

17 мая. Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она в рассуждении своего положения ошиблась.

20 июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что не ходил я к староверам не по нерадению, ибо то даже было в карманный себе ущерб; но я сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыка задумалась и потом объяснение мое приняла; но не мимо идет речь, что царь жалует, да его псарь не жалует. Так как дело сие о моей манкировке некоторою своею стороною касалось и гражданской власти, то, дабы положить конец сей пустой претензии и обонпол¹, владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору. Но и было же объяснение!.. Оле мне, грешному, что я только там вытерпел! Оле и вам, ближние мои, братья мои, искреннии и други, за срамоту мою и унижение, которые я перенес от сего куцега нечестивца! Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычному дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестью меня сопротивлением царю моему упрекаешь! Однако я сие снес и ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: „скачи, враже, як пан каже“. И вышло так, что все описанное случилось как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть отменяет, что из разных материй.

23 марта. Сегодня, в субботу страстную, приходили причетники и дьякон. Прохор просит, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать пообильнее. Но думалось: „нельзя же комиссару и без штанов“.

24 апреля 1837 года. Был осрамлен до слез и до рыданий. Опять был на меня донос, и опять предстоял пред оным губернаторским правителем за нехождение со Крестом во дворы

¹ Противоположная сторона.

раскольников. Донос сделан самим моим причтом! сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другое; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. Суею злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, тако устроившего, яко же есть.

25 апреля. Был я осрамлен в губернии; но мало в сравнении пред тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, встав рано, сел у окна и, размышляя о делах своих, и о прошедшем своем, и о будущем, глядел на раскрытую пред окном моим бакшу полунищего Пизонского. Прошлый год у него на грядах некая дурочка Настя, обольщенная проходящим солдатом, родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула. Пизонский в одинокой старости своей призрел сего младенца, и о сем все позабыли; позабыл и я во главе прочих. Но утром днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонского да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная², черная, даже как бы синеватая Земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем и ходят по ней бороздами в блестящем пере тощие черные птицы и свежим червем подкрепляют свое голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей озаренный солнцем, стоял на лестнице у утвержденного на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другою погружал зерна, кладя их шепотью крестообразно, и, глядя на небо, с опущением каждого зерна, взывал по одному слову: „Боже! устрой, и умножь, и возраста на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного“, и едва он сие кончил, как вдруг все ходившие по пашне черные глянцевиные птицы вскричали, закудахтали куры и запел, громко захлопав крылами, горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый сим чудачком, мальчик, сын дурочки Насти; он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне все это точно виденье. Старый Пизонский был счастлив и громко запел: „Аллилуйя!“ – „Аллилуйя, Боже мой!“ – запел и я себе от восторга и умиленно заплакал. В этих целебных слезах я облегчил мои досаждения и понял, сколь глупа была скорбь моя, и долго после дивился, как дивно врачует природа недуги души человеческой! Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: на хотящего, просящего, на *производящего и неблагодарного*... Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! этот старик сажал на долю вора и за него молился! Это, может быть, гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогает. О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!

6 августа, день Преображения Господня. Что это за прелестная такая моя попадьа Наталья Николаевна! Опять: где, кроме святой Руси, подобные жены быть могут? Я ей говорил как-то, сколь меня трогает нежность беднейшего Пизонского о детях, а она сейчас поняла или отгадала мысль мою и жаждание: обняла меня и с румянцем стыдливости, столь ей идущим, сказала: „Погоди, отец Савелий, может, Господь даст нам“. (Она разумела: даст детей.) Но я по обычаю, думая, что подобные ее надежды всегда суетны и обманчивы, ни о каких подробностях ее не спрашивал, и так оно и вышло, что не надо было беспокоиться. Но и из ложной сей тревоги вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорил слово к убеждению в необходимости всегдашнего себя преобразования, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий крепкий и ковкий, а не плющиться, как низменная глина, иссыхая сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся некою импровизацией и указал народу на стоявшего у дверей Пизонского. Хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нем как о некоем посреди нас стоящем, который, придя к нам нагий и всеми глупцами осмеянный за свое убожество, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих

² Свежевспаханная.

сделал, спасая и воспитывая неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко – согреть беззащитное тело детей и насаждать в души их семена добра. Выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидел, что многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же разумела душа моя, искать Котина нищего, Котина, сирых питателя. И видя, что его нету, ибо он, поняв намек мой, смиренно вышел, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание по тому случаю, что смутил его похвалой, и сказал: „Нет его, нет, братия, меж нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любви давно огненным перстом Божиим начертано в смиренном его сердце. Прошу вас, – сказал я с поклоном, – все вы, здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сограждане, простите мне, что не стратига превознесенного вспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от малых, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости зане грешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он пред ним не иерей Бога вышнего, а в ризах сих, покрывающих мое недостойство, – гроб поваленный. Аминь“.

Не знаю, что заключалось умного и красноречивого в простых словах сих, сказанных мною совершенно *ex promptu*³, но могу сказать, что богомолыцы мои нечто из сего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпуске, пала не одна слеза. Но это не все: важнейшее для меня только наступало.

Как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пещись не токмо о своих, но и о чужих детях, вездесущий и всеисполняющий приял и мое недостойство под свою десницу. Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым, по безмерным щедротам его, я владею, и велел мне еще преобразиться в наидовольнейшего судьбою своего человека. Только что прихожу домой с пятком освященных после обедни яблок, как на пороге ожидает меня встреча с некоторою довольно старою знакомкой: то сама попадья моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо из церкви, во время отпуска, приготовила мне, по обычаю, чай с легким фриштиком и стоит стопочкой на пороге, но стоит не с пустыми руками, а с букетом из речной лилеи и садового левкоя. „Ну, еще ли не коварная после этого ты женщина, Наталья Николаевна!“ – сказал я, никогда прежде сего ее коварством не укорявши. Но она столь умна, что нимало этим не обиделась: она поняла, что сие шуткой сказано, и, обняв меня, только тихо, но прегорько заплакала. Чего эти слезы? – сие ее тайна, но для меня не таинственна сия твоя тайна, жена добрая и не знающая чем утешать мужа своего, а утехи Израилевой, Вениамина малого, дать ему лишенная. Да, токмо речною лелеєю и садовым левкоем встретило меня в этот день ее отверстое в любви и благоволении сердце! В тихой грусти, двое бездетные, сели мы за чай, но был то не чай, а слезы наши растворялись нам в питье, и незаметно для себя мы оба заплакали, и оборучь пали мы ниц пред образом Спаса и много и жарко молились ему об утехе Израилевой. Наташа после открылась, что она как бы слышала некое обетование чрез ангела, и я хотя понимал, что это плод ее доброй фантазии, но оба мы стали радостны, как дети. Замечу однако, что и в сем настроении Наталья Николаевна значительно меня, грубого мужчину, превосходила как в ума сообразительности, так и в достоинстве возвышенных чувств.

– Скажи мне, отец Савелий, – приступила она ко мне, добродушно ласкаясь, – скажи, дружок: не был ли ты когда-нибудь, прежде чем нашел меня, против целомудренной заповеди грешен?

Такой вопрос, откровенно должен признаться, крайне смутил меня, ибо я вдруг стал понимать, к чему моя негодящая женка у меня такое ей несоответственное выпытывает.

Но она со всею своей превосходною скромностью и со всею с этою женскою кокетерией, которую хотя и попадья, но от природы унаследовала, вдруг и взаправду коварно начала меня обольщать воспоминаниями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чем она намек-

³ Вдруг (лат.).

нула, нетрудно было стать, ибо был будто бы я столь собой пригож, что когда приехал к ее отцу в город Фатеж на ней свататься, то все девицы не только духовные, но даже и светские по мне вздыхали! Сколь сие ни забавно, однако я старался рассеять всякие сомнения насчет своей юности, что мне и нетрудно, ибо без лжи в сем имею оправдание. Но чем я тверже ее успокаивал, тем она более приунывала, и я не постигал, отчего оправдания мои ее нисколько не радовали, а, напротив, все более как будто печалили, и, наконец, она сказала:

– Нет, ты, отец Савелий, вспомни, может быть, когда ты был легкомыслен... то нет ли где какого сиротки?

Тут уже я, что она сказать хочет, уразумел и понял, к чему она все это вела и чего она сказать стыдится; это она тщится отыскать мое незаконное дитя, которого нет у меня! Какое благодушие! Я, как ужаленный слепнем вол, сорвался с своего места, бросился к окну и впериł глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного моею женой в доброте и попечении. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслед за мною; поступью легкою ко мне сзади подкралась и, положив на плечи мне свои малые лапки, сказала:

– Вспомни, голубь мой: может быть, где-нибудь есть тот голубенок, и если есть, пойдем и возьмем его!

Мало что она его хочет отыскивать, она его уже любит и жалеет, как неоперенного голубенка! Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарыдал тем рыданием, которому нет на свете описания. Да и вправду, поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, рождаются такие женщины, как сия добродетель? Кто ее воспитывал, кроме тебя, всеблагий Боже, который дал ее недостойному из слуг твоих, дабы он мог ближе ощущать твое величие и благость».

Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница была залита чернилами и внизу этого чернильного пятна начертаны следующие строки:

«Ни пятна сего не выведу, ни некоей нескладицы и тождесловия, которые в последних строках замечаю, не исправлю: пусть все так и остается, ибо все, чем сия минута для меня обильна, мило мне в настоящем своем виде и таковым должно сохраниться. Попадья моя не унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже двенадцатый час ночи, и хотя она за обычаем всегда в это время спит, и хотя я это и люблю, чтоб она к полуночи всегда спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освежать себя в ночной тишине каким удобно чтением, а иною порой пишу свои нотатки, и нередко, пописав несколько, подхожу к ней спящей и спящую ее целую, и если чем огорчен, то в сем отрадном поцелуе почерпаю снова бодрость и силу и тогда засыпаю покойно. Днес же я вел себя до сей поры несколько иначе. По сем дне, повергавшем меня всеми ощущениями в непрерывное разнообразие, я столь был увлечен описанием того, что мною выше описано, что чувствовал плохую женку мою в душе моей, и поелику душа моя лобзала ее, я не вздумал ни однажды подойти к ней и поцеловать ее. Но она, тонкая сия лукавица, заметив сие мое упущение, поправила оное с невероятною оригинальностью: час тому назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путая, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимые хитрости женские за ней оказываются! Вдруг, пресерьезнейше пишучи, вижу я, что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием; но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я взял сего непокорного да прикрепил его, подложив немного под чернильницу, а он, однако, и оттуда убежал и даже увлек с собою и самую чернильницу, опрокинул ее и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. Что же сие полотняное бегство означает? означает оно то, что попадья моя выходит наипервейшая кокетка, да еще к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаясь, предо мною сидела на окошечке и сожалела, что она романсов петь не умеет, а она какую теперь штуку

измыслила и приправила! Взяла к этому платку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную нитку, протянула ее под дверь к себе на постель и, лежа на покое, платок мой у меня из-под рук изволит, шая, подергивать. И я, толстоносый, потому это только открыл, что с последним падением платка ее тихий и радостный хохот раздался и потом за дверью ее босые ножонки затоптали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошел, целовал ее без меры, но ушел опять, чтобы занотовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами.

7 августа. Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастья и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно влюбленные под Петров день солнце караулят, так и мы с нею, после пятилетнего брака своего, сегодняшнего солнца дождались, сидя под окном своим. Призналась голубка, что она и весьма часто этак не спит, когда я пишу, а только спящую притворяется, да и во многом другом призналась. Призналась, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что такой переход беременной не совсем в силу; но обет исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с ней пойду, и где она уставать станет, я понесу ее. Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она уже была беременная и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастья. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидев, как Наташа, шая, села на качели, кои кухаркина девочка под яблоню подцепила, я даже снял те качели, чтобы сего вперед не случилось, и наверх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялась. Однако, хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым заборцем, а Господь обрастал этот забор густою малиной, а то, пожалуй, иной сказал бы, что попа Савелия не грех подчас назвать и скоморохом.

9 августа. Заново препотешное событие, о чем моя жена с дьяконовым сыном-ритором вела сегодня не только разговор, но даже и спор. Это поистине и казус и комедия. Спорили о том: *Кто всех умнее?* Ритор говорит, что всех умнее был Соломон, а моя попадья утверждает, что я, и должно сознаться, что на сей раз роскошный царь Сиона имел адвоката гораздо менее стойкого, чем я. Ох, сколь же я смеялся! И скажите, сделайте ваше одолжение, что на свете бывает! Я все это слышал из спальни, после обеда отдыхая, и, проснувшись, уже не решился прерывать их диспута, а они один другого поражали: оный ритор, стоя за разум Соломона, подкрепляет свое мнение словами Писания, что „Соломон бе мудрейший из всех на земли сущих“, а моя благоверная поразила его особым манером: „Нечего, нечего, – говорит, – вам мне ткать это ваше: *бе*, да *рече*, да *пече*; это ваше *бе*, – говорит, – ничего не значит, потому что оно еще тогда было писано, когда отец Савелий еще не родился“. Тут в сей дискурс вмешался еще слушавший сей спор их никитский священник, отец Захария Бенефактов, и он завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что „это правда“, то есть „правда“ в рассуждении того, что меня тогда не было. Итак, вышли все сии три критика как есть правы. Не прав остался один я, к которому все их критические мнения поступили на антикритику: впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение насчет того, что я всех умнее, и на вопрос ее, кто меня умнее? отвечал, что *она*. Наיותרчайнейший отпор в сем получил, каким только истина одна отвергаться может: „Умные, – говорит, – обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу и никогда не рассуждаю. Отчего же это?“ На сие я ее тихо тронул за ее маленький нос и отвечал: „Это оттого ты не спешишь мешать рассуждением, что у тебя вместо строптивного носа сия смиренная пуговица на этом месте посажена“. Но, однако, она и сие поняла, что я хотел выразить этою шуткой, намекая на ее кротость, и пробовала и это в себе опорочить, напомнив в сей цели, как она однажды руками билась с почтмейстершей, отнимая у нее *служашую* девочку, которую та сурово наказывала.

10 августа, утром. Пришла мне какая мысль сегодня в постели! Рецепт хочу некий издать для всех несчастливых пар как всеобщего звания, так и наипаче духовных, поелику нам домашнее счастье наипаче необходимейшее. Говорят иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила с водой против мужчины, ходящего с огнем, то есть дабы, если он с пылкостью, то она была бы с кротостью, но все это, по-моему, еще не ясно, и притом слишком много толкований допускает; а я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаюсь вывести, что и наивернейшее средство ладить – сие: пусть считают друг друга умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней. „Друг, друг, друга!“ Эко как бесподобно выражаюсь! Но, впрочем, настоящему мечтателю так и подобает говорить без толку.

15 августа. Успение пресвятая Богородицы. Однако в то самое время, как я восторгался женой моей, я и не заметил, что тронувшее Наташу слово мое на Преображеньев день других тронуло совершенно в другую сторону, и я посеял против себя вовсе нежеланное неудовольствие в некоторых лицах в городе. Богомольцы мои, конечно не все, а некоторые, конечно, и впереди всех почтмейстерша Тимонова, обиделись, что я унизил их намеком на Пизонского. Но все это вздор умов пустых и вздорных. Конечно, все это благополучно на самолюбиях их благородной, как раны на песьей шкуре, так и присохнет.

3 сентября. Я сделал значительную ошибку: нет, совсем этой неосторожности не конец. Из консистории получен запрос: действительно ли я говорил импровизацией проповедь с указанием на живое лицо? Ах, сколь у нас везде всего живого бояться! Что ж, я и отвечал, что говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за это и головы не снимут, а между тем против воли смутно и спокойствие улетело.

20 октября. Всеконечно, правда, что головы не снимут, но рот замкнуть могут, и сделать сего не преминули. 15 же сентября я был вызван для объяснения. Одна спешность сия сама по себе уже не много доброго предвещала, ибо на добро у нас люди не торопливы, а власти тем паче, но, однако, я ехал храбро. Храбрость сия была охлаждена сначала тридцатидневным сидением на ухе без рыбы в ожидании объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадию. Но этого никогда не будет, и зато я буду нем яко рыба. Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодною бесстрашною совершать дело проповеди. Я ощущаю порой нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; мною тогда овладевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство; душа трепещет и горит, и слово падает из уст, как уголь горящий. Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры!.. А они требуют, чтоб я вместо живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения и сими отцу Троадию доставлял удовольствие чувствовать, что в церкви минули дни Могилы, Ростовского Димитрия и других светил светлых, а настали иные, когда не умнейший слабейшего в разуме наставляет, а обратно, дабы сим уму и чувству человеческому поругаться. Я сей дорогой не ходок.

Нет, я против сего бунтлив, и лучше сомкните вы, мои нелестивые уста, и смолкни ты, мое бесхитростное слово, но я из-под неволи не проповедник.

23 ноября. Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет вперемежку, так что даже и интерес ни на минуту не ослабевает: то оболгут добрые люди, то начальство потреплет, то Троадию скорбноглавому в науку меня назначат, то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбия, а время в сем все идет да идет, и к смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не все последствия моей злополучной Преображенской проповеди совершились. У нас, в восемнадцати верстах от города, на берегу нашей же реки Турицы, в обширном селе Плодомасове, живет владелица сего села, боярыня Марфа Андревна Плодомасова. Сия кочерга столь старого леса, что уже и признаков жизни ее издавна никаких не замечается, а известно только по старым памятям, что она женщина весьма немалого духа. Она и великой императрице Екатерине знаема была, и Александр император, поговорив с нею, находил необременительною для себя эту ее беседу; а наиболее

всего она известна в народе тем, как она в молодых годах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем ежели на ее счет вспоминают, то это еще повторение о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также, в двенадцатом году, с пленными французами; но все это относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли, и если когда речь ее особы коснется, то думают, что и она сама уже всех забыла. Лет двадцать уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Плодомасову видел.

Третьего дня, часу в двенадцатом пополудни, я был несказанно изумлен, увидев подъезжающие ко мне большие господские дрожки тройкой больших рыжих коней, а на тех дрожках нарочито небольшого человечка, в картузе ворсистой шляпной материи – с длинным козырем и в коричневой шинели с премножеством один над другим набранных капишончиков и пелерин.

Что бы сие, думаю, за неведомая особа, да и ко мне ли она едет или только ошибкой правит на меня путь свой?

Размышления эти мои, однако же, были скоро разрешены самою сею загадочною особой, вошедшею в мою зальцу с преизящною благопристойностью, которая всегда мне столь нравится. Прежде всего гость попросил моего благословения, а затем, шаркнув своею чрезвычайно маленькою ножкой по полу и отступив с поклоном два шага назад, проговорил:

– Госпожа моя, Марфа Андревна Плодомасова, приказали мне, отец иерей, вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловать.

– В свою очередь, – говорю, – позвольте мне, сударь, узнать, чрез кого я имею честь все это слышать?

– А я, – отвечает оный малютка, – есмь крепостной человек ее превосходительства Марфы Андревны, Николай Афанасьев, – и, таким образом мне отрекомендовавшись, сия крошечная особа при сем снова напомнила мне, что госпожа его меня ожидает.

– По какому делу, – говорю, – не знаете ли?

– Ее господской воли, батюшка, я, раб ее, знать не могу, – отвечал карла и сим скромным ответом на мой несообразный вопрос до того меня сконфузил, что я даже начал пред ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле. Спасибо ему, что он не стал меня допрашивать: в каком бы то еще в ином смысле таковой вопрос мог быть сделан.

Пока я в смежной комнате одевался, сей интересный карлик вступил в собеседование с Наташей и совсем увлек и восхитил ее своими речами. Действительно, и в словах да и в самом говоре сего крошечного старичка есть нечто невыразимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанке, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос двугривенный, и когда сия взять эти деньги сомневалась, он сам сконфузился и заговорил: „Нет, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка“; а когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне напудрить, он взял на руки случившуюся здесь за матерью замарашку-девочку кухаркину и говорит: „Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают. Уточка-франтиха говорит селезню-козырю: купи коты, купи коты! а селезень отвечает: заказал, заказал!“ И дитя рассмеялось, да и я тоже сему сочинению словесному птичьего разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину Лафонтену или Ивану Крылову впору. Дорогу не заметил, как и прошла с разговорах с этим пречудесным карлой: столь много ума, чистоты и здравости нашел во всех его рассуждениях.

Но теперь самое главное: наступал час свидания моего с одинокою боярыней.

Немалое для меня удивление составляет, что при приближении сего свидания я, от природы моей не робкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. Николай Афанасьич, проводя меня через ряд с поразительною для меня пышностью и крайней чистотой содержимых покоев, ввел меня в круглую комнату с двумя рядами окон, изукрашенных в полукругах цветными стеклами; здесь мы нашли старушку немногим чем побольше Николая. При входе нашем она стояла и вертела ручку большого органа, и я уже чуть было не принял ее за самую

оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидев нас, неслышно вошедших по устилающим покой пушистым коврам, немедленно при явлении нашем оставила свою музыку и бросилась с несколько звериною, проворною хваткой в смежный покой, двери коего завешены большою занавесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками разные китайские фигурки.

Эта женщина, скрывшаяся с такою поспешностью за занавесь, как я после узнал, родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная приятности, имеющейся в кроткой наружности ее брата.

Николай тоже скрылся вслед за сестрою под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот, в течение времени, длившегося за сим около получаса, я и почувствовал некую смятку во рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов. Но, наконец, настал и сему конец. За тою же самою занавесью я услышал такие слова: „А ну, покажи-ка мне этого умного попа, который, я слышала, приобик правду говорить?“ И с сим занавесь как бы мановением чародейским, на невидимых шнурах, распахнулась, и я увидел пред собою саму боярыню Плодомасову. Голос ее, который я пред сим только что слышал, уже достаточно противоречил моему мнению о ее дряхлости, а вид ее противоречил сему и еще того более. Боярыня стояла предо мной в силе, которой, казалось, как бы и конца быть не может. Ростом она не велика и не дородна особенно, но как бы над всем будто царствует. Лицо ее хранит выражение большой строгости и правды и, судя по чертам, надо полагать, некогда было прекрасно. Костюм ее довольно странный и нынешнему времени несоответственный: вся голова ее тщательно увита в несколько раз большою коричневою шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то суконный казакин светлого цвета; потом под этим казакином юбка аксамитная ярко-оранжевая и желтые сапожки на высоких серебряных каблучках, а в руке палочка с аметистовым набалдашником. С одного боку ее стоял Николай Афанасьевич, с другого – Марья Афанасьевна, а сзади ее – сельский священник, отец Алексей, по ее назначению посвященный из ее на волю пущенных крепостных.

– Здравствуй! – сказала она мне, головы нимало не наклоняя, и добавила: – Я тебя рада видеть.

Я в ответ на это ей поклонился, и, кажется, даже и с изрядною неловкостью поклонился.

– Поди же, благослови меня, – сказала она.

Я подошел и благословил ее, а она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески намерен был уклониться.

– Не дергай руки, – сказала она, сие заметив, – это не твою руку я целую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

Сели мы: она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали.

– Мне говорил отец Алексей, что ты даром проповеди и хорошим умом обладаешь. Он сам в этом ничего не смыслит, а верно от людей слышал, а я уж давно умных людей не видала и вот захотела со скуки на тебя посмотреть. Ты за это на старуху не сердись.

Я мешался в ответах и, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем было наказано, но она, к счастью, приступила к расспросам, на которые мне пришлось отвечать.

– Тебя, говорят, раскольников учить прислали? – так она начала.

– Да, – говорю, – между прочим имелась в виду и такая цель в моей посылке.

– Полагаю, – говорит, – бесполезное это дело: дураков учить все равно что мертвых лечить.

Я не помню, какими точно словами отвечал, что не совсем всех раскольников глупыми понимаю.

– Что ж, ты, умными их почитая, сколько успел их на пути наставить?

– Нимало, – говорю, – еще не могу успехом похвастать, но тому есть причины.

Она. О каких ты говоришь причинах?

Я. Способ действия с ними несоответственный, а зло растёт через ту шатость, которую они видят в церковном обществе и в самом духовенстве.

Она. Ну, зло-то, какое в них зло? Так себе, дурачки Божии, тем грешны, что книг читались.

Я. А православный алтарь все-таки страдает на этом распадении.

Она. А вы бы этому алтарю-то повернее служили, а не оборачивали бы его в лавочку, так от вас бы и отпадений не было. А то вы ныне все благодатью, как сукном, торгуете.

Я промолчал.

Она. Ты женат или вдов?

Я. Женат.

Она. Ну, если Бог благословит детьми, то зови меня кумой: я к тебе пойду крестить. Сама не поеду: вон ее, карлицу свою, пошлю, а если сюда дитя привезешь, так и сама подержу.

Я опять поблагодарил и, чтобы разговориться, спрашиваю:

– Ваше превосходительство, верно, изволите любить детей?

– Кто же, – говорит, – путный человек детей не любит? Их есть царствие Божие.

– А вы давно одни изволите жить?

Она. Одна, отец, одна, и давно я одна, – проговорила она, вздохнув.

Я. Одиночество это часто довольно тягостно.

Она. Что это?

Я. Одиночество.

Она. А ты разве не одинок?

Я. Каким же образом я одинок, когда у меня есть жена?

Она. Что ж, разве твоя жена все понимает, чем ты, как умный человек, можешь поскорбеть и поболеть?

Я. Я женой моею счастлив и люблю ее.

Она. Любишь? Но ты ее любишь сердцем, а помыслами души все-таки одинок стоишь. Не жалею меня, что я одинока: всяк брат, кто в семье дальше братнего носа смотрит, и между своими одинокими себя увидит. У меня тоже сын есть, но уж я его третий год не видала, знать, ему скучно со мною.

Я. Где же теперь ваш сын?

Она. В Польше мой сын, полком командует.

Я. Это доблестное дело врагов отчизны смирять.

Она. Не знаю я, сколько в этом доблести, что мы с этими полячишками о сю пору возимся, а по-моему, вдвое больше в этом меледы.

Я. Справимся-с, придет время.

Она. Никогда оно не придет, потому что оно уж ушло, а мы всё как кулик в болоте стояли: и нос долог и хвост долог: нос вытащим – хвост завязнет, хвост вытащим – нос завязнет. Перекачиваемся да дураков тешим: то поляков нагайками потчуем, то у их хитрых полячек ручки целуем; это грешно и мерзко так людей портить.

– А все же, – говорю, – войска наши там по крайней мере удерживают поляков, чтоб они нам не вредили.

– Ни от чего они их, – отвечает, – не удерживают; да и нам те поляки не страшны бы, когда б мы сами друг друга есть обещанья не сделали.

– Это, – говорю, – осуждение вашего превосходительства, кажется, как бы несколько излишне сурово.

Она. Ничего нет в правде излишне сурового.

– Вы же, – говорю, – сами, вероятно, изволите помнить двенадцатый год: сколько тогда на Руси единомушья явлено.

Она. Как же, как мне не помнить: я сама вот из этого самого окна глядела, как наши казаки мои мужиков колотили и мои амбары грабили.

– Что ж это, – говорю, – может быть, что такой случай и случился, я казачьей репутации нимало не защищаю, но все же мы себя героически отстояли от того, пред кем вся Европа ниц простертою лежала.

Она. Да, удалось, как Бог да мороз нам помогли, так мы и отстояли.

Отзыв сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, подействовал на меня так пренеприятно, что я, даже не скрывая сей неприятности, возразил:

– Неужто же, государыня моя, в вашем мнении все в России только случайностями едиными и происходит? Дайте, – говорю, – раз случаю и два случаю, а хоть в третье уже киньте нечто уму и народным доблестям предводителей.

– Все, отец, случай, и во всем, что сего государства касается, кроме Божией воли, мне доселе видятся только одни случайности. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу-воителя, так и сидели бы мы на своей хваленой земле до сих пор не государством великим, а вроде каких-нибудь толстогубых турецких болгар, да у самих бы этих поляков руки целовали. За одно нам хвала – что много нас: не скоро поедим друг друга; вот этот случай нам хорошая заручка.

– Грустно, – говорю.

– А ты не грусти: чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет. Да нам с тобою и говорить довольно, а то я уж устала. Прощай; а если что худое случится, то прибегни, пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой гриб лафертовский: грибы-то и в лесу живут, а и по городам про них знают. А что если на тебя нападают, то ты этому радуйся; если бы ты льстив или глуп был, так на тебя бы не нападали, а хвалили бы и другим в пример ставили.

Проговорив эти слова, она оборотилась к карлице, державшей во все время нашего разговора в руках сверточек, и, передавая оный мне, сказала:

– Отдай вот это от меня своей попадье, это здесь корольки с моей шеи; два отреза на платье, да холст для домашнего обихода, а это тебе от меня алмантиновый перстень.

Подарок этот, предложенный хотя во всей простоте, все-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов, и на шелковые материи, и на ярко горящий алмаنتين, сказал:

– Государыня моя! очень благодарю вас за столь лестное ваше к нам внимание; но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая...

– Что ж, – перебила меня она, – тем и лучше, что у тебя простая жена; а где и на муже и на жене на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Наилучшее дело, если баба в своей женской исподничке ходит, и ты вот ей за то на исподницы от меня это и отвези. Бабы любят подарки, а я дарить люблю. Бери же и поезжай с Богом.

Вот этим она и весь разговор свой со мною окончила и, признаюсь, несказанно меня удивила. По некоей привычке к логичности, еду обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афанасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за сенс⁴ моральный все это, что ею говорено, в себе заключает? И не нашел я тут никакой логической связи, либо весьма мало ее отыскивал, а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал; но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кои называли сию бабу в свое время весьма мозговитою. А главное, что меня в удивление приводит, так это моя пред нею нескладность, и чему сие приписать, что я, как бы оробев сначала, примкнул язык мой к гортани и если о чем заговаривал, то все это вышло весьма скудоумное, а она разговор, словно насмех мне, поворачивала с прихотливостью, и когда я заботился, как бы мне репрезентовать умнее, дабы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровать, она совершенно об этом небрегла и слов своих, очевидно, не подготавливала, а и моего ума не испытывала, и вышла меж тем таковою, что я ее позабыть не в состоянии. В

⁴ Смысл (фр. – sens).

чем эта сила ее заключается? Полагаю, в том образовании светском, которым небрегут наши воспитатели духовные, часто впоследствии отнимая чрез это лишение у нас самонеобходимейшую находчивость и ловкость в обращении со светскими особами.

Но дню сему было определено этим не окончиться, а суждено, видно, ему было заключиться еще новым курьезом. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять нам этот достопримечательнейший и сразу все мое уважение себе получивший карло Николай Афанасьевич. Поначалу он презентовал мне белой бумаги с красными каемочками вязанные помочи, а потом жене косыночку из трусиковой нежной шерсти, и не успел я странности сих новых, неожиданных подарков надивиться, как он вынул из кармана шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксины. „Что это за день подарков!“ – невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это все его собственных рук изделие. „Нужды, – говорит, – в работе, благодаря благодетельнице моей, не имея и не будучи ничему иному обучен, я постоянно занимаюсь вязанием, чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих“. Так мне понравилась эта простота, что я схватил сего малого человечка на грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения.

Да закончу ли я, однако, и сим мое сегодняшнее описание? Уехавшим служителям боярыни Плодомасовой еще все чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя, Аксиныя усмотрела на платейной вешалке нечто висящее, как бы не нам принадлежащее, и когда мы с Наташей на сие были сею служанкой позваны, то нашли: во-первых, темно-коричневый французского гроденаплю подрясник; во-вторых, богатый гарусный пояс с пунцовыми лентами для завязок, а в-третьих, драгоценнейшего зеленого неразрезного бархату рясу; в-четвертых же, в длинном куске коленкора полное иерейское облачение.

Просто были все мы поражены сею находкой и не знали, как объяснить себе ее происхождение; но Аксиныя первая усмотрела на пуговице у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать египетского штиля, буквами было написано: „Помяни, друг отец Савелий, рабу Марфу в своих молитвах“. Ахнули мы, но нечего было делать, и стали разлагать по столу новое облачение. Тут еще большее нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать епитрахиль, смотрим: из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте пятьсот рублей с самою малою запиской, тою же рукой писанною. Пишет: „Дабы ожидающее семью твою при несчастьи излишне тебя не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрати тыкву; тогда спокойнее можешь о строении дела Божия думать“.

Ну, за что мне сие? Ну, чем я сего достоин? Отчего же она не так, как консисторский секретарь и ключарь, рассуждает, что легче устроить дело Божие, не имея, где головы подклонить? Что сие и взаправду все за случайности!

Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник! И у тебя своя хатина будет; но увы! должен добавить, что будет она случаем.

25 ноября. Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марфа Андревна не приняла, для того, сказал карлик Никола, что она не любит, чтоб ее благодарили, но к сему, однако, прибавил: „А вы, батюшка, все-таки отлично сделали, что изволили приехать, а то они беспокойны были бы насчет вашей неблагодарности“. Можно заключить, что в особе сей целое море пространное всякой своеобычности. Так, например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить и о сем хлопотала. „Для чего же сие?“ – спрашиваю. „А для пыжиков, – говорит, – батюшка“. Это, то есть, она желала маленьких людей развестись!.. Скажите, о чем забота! Еще ли эта, коих видим окрест себя, очень велики!

6 декабря. Внес вчера в ризницу присланное от помещицы облачение и сегодня служил в оном. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сих пор в ризы покойного моего

предместника, человека роста весьма мелкого, я, будучи такою дылдой, не велелепием церковным украшался, а был в них как бы воробей с общипанным хвостом.

9 декабря. Пречудно! Отец протопоп на меня дуется, а я как вин за собою против него не знаю, то спокоен.

12 декабря. Некоторое объяснение было между мною и отцом благочинным, а из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, что не так она будто в церковь доставлена, как бы следовало, и при сем добавил он, что, мол, „и разные слухи ходят, что вы от нее и еще нечто получили“. Что ж, это, значит, имеет такой вид, что я будто не все для церкви пожертвованное доставил, а украл нечто, что ли?

23 декабря. Вот слухи-то какие! Ах, Боже мой милосердный! Ах, Создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю лет ее, но даже сана моего, столь для меня бесценного, и того не пощадили! Гнусники! Но сие столь недостойно, что не хочу и обижаться.

29 декабря. Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, а за что – сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на Святках вечерние собеседования с раскольниками, но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено там за непозволительное, и за сие усердование дано мне замечание. Не иначе думаю, как городничему поручен за мною особый надзор. Наилучше к сему, однако, пока шуточно относиться; но окропил себя святою водой от врага и соглядатая.

1 января. Благослови венец благодати твоя, Господа, а попу Савелию новый путь в губернию. Видно, на сих супостатов и окропление мое не действует.

7 января. Госпожа Плодомасова вчера по водоосвящении прямо во всем, что на ней было, окунулась в прорубь. Удивился! Спросил, – всегда ли это бывает? Говорят: всегда, и это у нее называется „мовничать“.

Экой закал предивный! я бы, кажется, и жив от одной такой бани не остался.

20 января. Пишу сии строки, сидя в смрадниче на архиерейском подворье, при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях с раскольниками присоединена пущая вина: донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променена раскольниками старопечатная псалтырь из книг Деевской молельной, кои находятся у меня на сохранении. Дело такое и вправду совершилось, но я оное утаил, считая то, во-первых, за довольно ничтожное, а во-вторых, зная тому настоящую причину – бедность, которая Лукьяна-дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление, и я взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить.

4 февраля. Вчера, без всякой особой с моей стороны просьбы, получил от келейника отца Троиadia редкостнейшую книгу, которую, однако, даже обязан бы всегда знать, но которая на Руси издана как бы для того, чтоб ее в тайности хранить от тех, кто ее знать должен. Сие „Духовный регламент“; читал его с азартною затяжкой. Познаю во всем величие сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сию хоронящих. Как иначе? Писано в ней, например: „Ведал бы всяк епископ меру чести своей, и не высоко бы о ней мыслил. Се же того ради предлагается, дабы укрощи оную весьма жестокою епископам славу, чтобы оных под руки донележе здрави суть невожено и в землю бы им подручная братия не кланялась. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтобы степень исходатайствовать себе недостойный, чтобы так неистовство и воровство свое покрыть“. Следовательно, понуждая меня стлаться перед собою, оный понуждающий наипервое всего закон нарушает и становится преступником того сокрываемого государева регламента. Тоже писано: „Кольми паче не дерзали б грабить, под виной жестокого наказания, ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые скотины, и где видят власть своего владыки, там с великою гордостью и бесстыжием, как татары, на похищение устремляются“. Великолепно, государь, великолепно!

9 апреля. Возвратился из-под начала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены своей, без меня здесь исстрадавшейся, а еще более растрогался слезами жены дьячка Лукьяна.

О себе молчав, эта женщина благодарила меня, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего только, впрочем, на один год.

Срок столь непродолжительный, что семья его не истощает и не евши. Ближе к Богу будет по консисторскому соображению.

20 апреля. Приезжал ко мне приятный карлик и сообщил, что Марфа Андревна указала, дабы ежегодно на летнего Николу, на зимнего и на Крещение я был трижды приглашаем служить к ней в плодомасовскую церковь, за что мне через бурмистра будет платимо жалованье 150 руб., по 50 руб. за обедню. Ну, уж эти случайности! Чего доброго, я их даже бояться стану.

15 августа. Вернулся из губернии пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкой и губернатором произошла некая распря из-за взаимного визита.

2 октября. Слухи о визитной распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить сие обыкновение и послали своего костыльщика просить его превосходительство вести себя благопристойнее. Губернатор принял замечание весьма амбициозно и чрез малое время снова возобновил свои громкие с жандармским полковником собеседования; но на сей раз владыка уже сами остановились и громко сказали:

– Ну, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

Очень это со стороны владыки одобряю.

8 ноября. Получил набедренник. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему визитному случаю и тому, что губернатор меня не жалует.

6 января 1837 года. Новая новость! Владыка на Новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказал: „Скинь прежде с руки собачью шкуру“.

А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.

1 февраля. По изволению владыки, я представлен ко скуфье.

17 марта. Богоявленский протопоп, идучи ночью со святыми дарами от больного, взят обходными солдатами в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыка на другой день в мантии его посетили. О, ляше правителю, будете вы теперь сию проделку свою помнить!

18 мая. Владыка переведены в другую епархию.

16 августа. Был у нового владыки. Мужчина, казалось, весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить о сем записку. Сказали, что я рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный и злопобежденный дедуня, за доброе слово!

25 декабря. Не знаю, что о себе думать, к чему я рожден и на что призван? Попадья укоряет меня, что я и в сей праздник Христова Рождества работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку о быте духовенства с радостью такою и с любовью такою, что и сказать не умею. Озаглавил ее так: „О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить для пользы церкви и государства“. Думаю, что так будет добро. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силы и разума преисполненным.

1 апреля. Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял: по ее легковверным приметам, сие первое число апреля обманчиво. Заметим.

10 августа. Произведен в протоиереи.

4 января 1839 года. Получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилося радостью; но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный крест. Благодарю, весьма благодарю; но об участии записки моей все-таки сетую.

8 апреля. Назначен благочинным. О записке слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить?

10 апреля 1840 года. Год уже протек, как я благочинствую. О записке слухов нету. Видно, попадья не все пустякам верит. Сегодня она меня насмешила, что я, может быть, хорошо написал, но не так подписался.

20 июня 1841 года. Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав, пою Богу моему дондеже есмь. Что это со мной было? Что такое я вынес и как я изо всего этого вышел на свет Божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей и романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которою живут люди, а нужны только претексты для празднословных рацей? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей „ненужный человек“, которого, по-твоему, может быть напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призовут еще раз, также противу твоей воли, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти и что оно не ощущает страданий? Или же ты с своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей... О слепец! скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о глупец! скажу тебе, если мыслишь второе и в силу сего заключения стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал, задохнувшись.

Но снисхожу от философствования к тому событию, по коему напало на меня сие философствование.

Я отрешен от благочиния и чуть не отвержен сана. А за что? А вот за что. Занотую повесть сию с подробностью.

В марте месяце сего года, в проезд чрез наш город губернатора, предводителем дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже в двенадесятые праздники и говорил, что таким образом великая бедность народная еще более увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса... Но едва лишь только я это слово „овса“ выговорил, как сановник мой возгорелся на меня гневом; прятнул от меня, как от гадины, и закричал: „Да что вы ко мне с овсом пристали! Я вот, – говорит, – и то-то, и то-то, да и, наконец, я-де не Николай Угодник, я-де овсом не торгую!“ Этого я не должен был стерпеть и отвечал: „Я вашему превосходительству, как человеку в делах веры не сведущему, прежде всего должен объяснить, что Николай Угодник был епископ и ничем не торговал. А затем вы должны знать, что православному народу нужны священник и дьякон, ибо до сих пор их одних мы еще у немцев не заимствовали“. Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, оный правитель подсказал мне: „Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся“. Эта последняя вещь была для меня горше первой. „Кто сии черти, и что твои мерзкие уста болотом назвали?“ – подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал сему пану, что „уважая сан свой, я даже и его на сей раз чертом назвать не хочу“. Чем же сие для меня кончилось? Ныне я бывший благочинный, и слава тебе Творцу моему, что еще не бывший поп и не расстрига. Нет, сего ты, современный сочинитель повестей, должно быть не спишешь. Не постарайся, чтобы люди знали, как тяжело мне!

3 сентября. Осенняя погода нагоняет на меня жесточайшую скуку. Привык я весьма постоянно действовать, но ныне без дела тоскую и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу.

27 января 1842 года. Купил у жида за семь рублей органчик и игорные шашки.

18 мая. Взял в клетку чижа и начал учить его петь под орган.

9 августа. Зачал сочинять повесть из своего духовного быта. Добрые мне женщины наши представляются вроде матери моей, дочери заштатного дьякона, всех нас своею работою кормившей; но когда думаю – все это вижу живообразно, а стану описывать – не выходит. Нет, я к сему неспособен!

2 марта 1845 года. Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учредил да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегой своим, отцом Николаем, и был удивлен, как он это внял и согласился. „Да, – сказал он, – сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облакаемся“. Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается.

Новый, 1846 год. К нам начинают ссылать поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политичною заворожкой, что начинается на Западе, и пренумеровал для сего себе политическую газету.

6 мая 1847 года. Прибыли к нам еще два новые поляка, ксендз Алоизий Конаркевич да пан Игнатий Чемерницкий, сей в летах самых юных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сонм соотчицей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами; но мне мнится, что здесь есть еще нечто и иное.

20 ноября. Замечаю что-то весьма удивительное и непонятное: поляки у нас словно господами нашими делаются, все через них в губернии можно достигнуть, ибо Чемерницкий оному моему правителю оказывается приятель.

5 февраля 1849 года. Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что они превзошли всякую меру. Мало того что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем неприятелей, но от слова уже и до дела доходят. На панихиде за воинов, на брани убиенных, подняли с городничихой столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном состоянии или о выходе, после чего они, улыбаясь, из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки братьев Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом дьякону, возгласил: „Много ли это!“ Я понял, что это посмеяние над многолетием, и так и описал, и сего не срамлюсь и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное.

1 апреля. Вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник и пригласил меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все как было, а он объявил мне, что всем этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец. Опасаюсь однако, что все сие, как назло, сказано мне первого апреля. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво.

7 сентября. Первое апреля на сей раз, мнится, не обмануло: Конаркевича и Чемерницкого обоих перевели на жительство в губернию.

25 ноября. Наш городничий с супругой изволили выехать: он определен в губернию полицмейстером. Однако этак не очень еще его наказали.

5 декабря. Прибыл новый городничий. Называется он капитан Мраяковский. Фамилия происходит от слова мрак. Ты, Господи, веси, когда к нам что-нибудь от света приходиться станет!

9 декабря. Был сегодня у нового городничего на фрыштыке. Любезностью большою обладают оба – и он и жена. Подвыпив изрядно, пел нам: „Ты помнишь ли, товарищ славы бранной?“ А потом сынишка его, одетый в русской рубашке, тоже пел: „Ах, мороз, морозец, молодец ты русский!“ Это что-то новые новости! Замечательность беседы сего Мрачковского, впрочем, наиболее всего заключалась для меня в рассказе о некоем профессоре Московского университета, получившем будто бы отставку за то, что на торжественном акте сказал: „*Nunquam de republica desperandum*“ в смысле „никогда не должно отчаяваться за государство“, но каким-то канцелярским мудрецом понято, что он якобы велел не отчаяваться в республике, то за сие и отставлен. Даже невероятно!

12 декабря. Прочитал в газетах, что будто одному мужику, стоявшему наклонясь над водой, вскочила в рот небольшая шука и, застряв жабрами, не могла быть вытащена, отчего сей ротозей и умер. Чему же после сего в России верить нельзя? Верю и про профессора.

20 декабря. Нет, первое-то апреля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего, со мною бывшего в сей приезд в губернию, вписывать, а скажу одно, что я был руган и срамлен всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей *сам-то* наш прямо накинулся на меня, что „ты, дескать, уже надоел своим сутяжничеством; не на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался, ябедничал да сутяжничал“. Сердцеведец мой! Когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но ничего я отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное „молчи!“ Избыхся всех лишних, и се, возвратясь, сию как крапивою выпоронная насадка, и твержу себе то слово: „молчи!“, и вижу, что слово сие разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным чем, не неловкостью и не необразованностью моею изъяснен, а чем бы вам мнилось? злопомнением, что меня те самые поляки не зазвали, да и пьяным не напоит, к чему я, однако, благодаря моего Бога и не привержен. От малого сего к великому заключая, припоминая себе слова французской девицы Шарлоты Кордай д'Армон, как она в предказанном письме своем писала, что „у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей пожертвовать. Везде эгоизм, и все им объясняется“. Оно бы, глядя на одних своих, пожалуй бы и я был склонен заключить, как Кордай д'Армон, но, имея пред очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отучают любить Русь, поневоле должен ей противоречить и думать, что есть еще у людей любовь к своему отечеству! Вот до чего, долго живучи, домыслившись, что и ляхов за нечто похваливать станешь. Однако звучно да будет мне по вся дни сие недавно слышанное мною: „молчи“. *Nunquam de republica desperandum*.

2 января 1849 года. Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники. Противиться мне не время, однако же минутами горестно сие чувствовал; но делал ради того, дабы не перерядить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был я у городничего: он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел, а что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно смеха, то это выходка нашей модной чиновницы Бизюкиной. „Правда ли, – спросила она меня, – что вы донесли на поляков? Как это низко. Вы после этого теперь не что иное, как ябедник и доносчик. Сколько вам за это заплатили?“ А я ей на это отвечал: „А вы не что иное, как дура, и к тому еще неоплатная“.

1 января 1850 года. Год прошел тихо и смиренно. Схоронил мою благотворительницу Марфу Андревну Плодомасову. Скончалась, пережив пятерых венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и с двумя из них танцевала на собраниях. Ждал неприятностей от Бизюкинши, которая со связями и могла потщиться пострелать меня чрез губернию, да все обошлось прекрасно: мы, русские, сколь ни яровиты порой, но, видно, незлопамятны, может потому, что за нас и заступиться некому. В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость: полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от сего

траты. Курил спервоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этою сбруей обзавелся. Надо бы и бросить.

1850 год. Надо бросить. Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость сию не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью, Наталью Николаевну, плоха надежда: даст намек, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз подобно первому апреля.

1 января 1857 года. Совсем не узнаю себя. Семь лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное, зане житие мое стало сытое и привольное. Перечитывал все со дня преподобия своего здесь написанное. Достойно замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии года. Сам не воюю, никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу. „Укатали сивку крутые горки“, и против рожна прати более не охота.

20 февраля. Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего, поляка, на коего я доносил во дни моей молодой строптивости, пана Чемерницкого. Он женился на русской нашей богатой вдове и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. В господине Чемерницком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего.

7 апреля. Приехал новый исправник, пан Чемерницкий, сам мне и визит сделал. О старой ссоре моей за „много ли это“ и помина не делает.

20 мая. Впервые читал у исправника заграничную русскую газету „Колокол“ господина Искандера. Речь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычке к смелости – дико.

2 июня. Вчера, на день ангела своего, справлял пир. Думал сделать сие скромненько, по моему достоянию, но Чемерницкий утром прислал целую корзину вина, и сластей, и рому, а вечером ко мне понагрянули и Чемерницкий и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подпивши зело-зело, стал вдруг меня с Чемерницким мирить за старое, и я помирился, и просил извинения, и много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии? Сегодня утром выражал о сем мирителю Порохонцеву большое сожаление, но он сказал, что по-ихнему, по-полковому, не надо о том жалеть, когда, подпивши, целуешься, ибо это всегда лучше, чем выпив да подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя поткал в нос кропилом и назидательно сказал себе: „Не пей, поп, вина“.

23 августа. Читал „Записки“ госпожи Дашковой и о Павле Петровиче; всё заграничного издания. Очень все любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен, кроме что о Петре, – о нем думаю иначе. Однако спасибо Чемерницкому, что рассеивает этими редкими книгами мою сильную скуку.

9 сентября. Размочился с Чемерницким на свадьбе Порохонцева. Дерзкий этот поляк, глумясь, начал расспрашивать бесхитростного Захарию, что значит, что у нас при венчании поют: „живота просите у тебе?“ И начал перекур: о каком здесь животе идет речь? Я же вмешался и сказал, что он сие поймет, если ему когданибудь под виселицей петлю наденут.

20 декабря. Я в крайнем недоумении. Дьячиха, по малосмыслию, послала своему сыну по почте рублевую ассигнацию в простом конверте, но конверт сей на почте подпечатали и, открыв преступление вдовы, посылку ее конфисковали и подвергли ее штрафу. Что на почте письма подпечатывают и читают – сие никому не новость; но как же это рублевую ассигнацию вдовицы ловят, а „Колокол“, который я беру у исправника, не ловят? Что это такое: простота или воровство?

20 октября. Вместо скончавшегося дьякона нашего, смиренного Прохора, прибыл из губернии новый дьякон, Ахилла Десницын. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такою физиономией и с такою фигурой, что нельзя, глядя на него, не удивляться силе природной произрастательности. Голос он имеет весьма добрый, нрава весьма веселого и на первый раз показался мне будто очень почтителен. Но наипаче всего этот человек нравится мне своим добродушием. Предъявлял он мне копию со своего семинарского аттестата, в коей написано:

„поведения хорошего, но удобоносителен“. „А что сие обозначает?“ – спросил я. „Это совершенные пустяки, – объяснил он, – это больше не что, как, будучи в горячечной болезни в семинарском госпитале, я проносил больным богословам водку“. И сие, мол, изрядно.

9 декабря. Получил камилавку и крест св. Анны. По чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сие по засвидетельствованию милостивца моего, пана Чемерницкого, о моей рачительности по благочинию.

7 марта 1858 года. Исход Израилев был: поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои – и губернатор, и его оный правитель, да и нашего Чемерницкого за собой на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренно жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более.

7 декабря. По указанию дьячка Сергея заметил, что наш новый дьякон Ахилла несколько малодушник: он многих приходящих из деревень богомольцев из ложного честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением и при сем еще как-то поддерживает левою рукой правый рукав рясы. Сказал ему, дабы он сего отнюдь себе вперед не позволял.

18 июля 1859 года. Дьякон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие со священником, я отобрал у него палку, которую он даже и права носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил.

15 августа. Пировали у городничего, и на сем пиру чуть не произошел скандал, опять по поводу спора об уме, и напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то я смеялся. Дьякон Ахилла и лекарь сразились в споре обо мне: лекарь отвергал мой ум, а дьякон – возносил. Тогда на их шум, и особливо на крик лекаря, вошли мы, и я с прочими, и застали, что лекарь сидит на верху шкафа и отчаянно болтает ногами, производя стук, а Ахилла в спокойнейшем виде сидит посреди комнаты в кресле и говорит: „Не снимайте его, пожалуйста, это я его яко на водах повесих за его сопротивление“. Удерживая свой смех, я достаточно дьякона за его шалость пощунял и сказал, что сила не доказательство. А он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: „А, что такое? Небось сам теперь видишь, что он министр юстиции“. Предивно, что этот казаковатый дьякон как бы провидит, что я его смертельно люблю – сам за что не ведая, и он тоже меня любит, отчета себе в сем не отдавая.

25 августа. Какая огромная радость! Ксендзы по Литве учредили общества трезвости: они проповедуют против пьянства, и пьянство престаёт, и народ остепеняется, и откупщики-кровопийцы лопаются. Ах, как бы хотелось в сем роде проповедничать!

5 сентября. В некоторых православных обществах заведено то же. Боюсь, не утерплю и скажу слово! Говорил бы по мысли Кирилла Белозерского, како: „крестьяне ся пропивают, а души гибнут“. Но как проповедовать без цензуры не смею, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что делать, за неволю и патеру Игнатию Лойоле следовать станешь, когда прямую дорогой ходу нет.

7 октября. Составили проект нашему обществу, но утверждения оному еще нет, а зато пишут, что винный откупщик жаловался министру на проповедников, что они не допускают народ пить. Ах ты, дерзкая каналья! Еще жаловаться смеет, да еще и министру!..

20 октября. Бешеная весть! Газеты сообщают, что в июле сего года откупщики жаловались министру внутренних дел на православных священников, удерживающих народ от пьянства, и господин министр передал эту жалобу обер-прокурору Святейшего синода, который отвечал, что „Св. синод благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в некоторых городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина“. Но откупщики не унялись и снова просили отменить указ Святейшего синода, ибо, при содействии его, общества трезвости разведутся повсеместно. Тогда министр финансов сообщил будто бы обер-прокурору Святейшего синода, что совершенное запрещение горячего вина, посредством сильно действующих на умы простого народу религиозных угроз и клятвенных обещаний, не должно быть допускаемо, как противное не только общему

понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание. Затем, сказывают, сделано распоряжение, чтобы приговоры городских и сельских обществ о воздержании уничтожить и впредь городских собраний и сельских сходок для сей цели нигде не допускать. Пей, бедный народ, и распивайся!

8 ноября. В день святых и небесных сил воеводы и архистратига Михаила прислан мне пребольшущий нос, дабы не токмо об учреждении общества трезвости не злоумышлял, но и проповедовать о сем не смел, имея в виду и сие, и оное, и всякое, и овакое, опричь единой пользы человеческой... Да не полно ли мне, наконец, все это писать? Довольно сплошной срам-то свой все записывать!

1 января 1860 года. Даже новогодия пропускаю и ничем оставляю не отмеченные. Сколь горяч был некогда ко всему трогающему, столь ныне ко всему отношусь равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, говорит, что я каков был, таков и сегодня; а где тому так быть! Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама она уже Сарриных лет достигла, но а мне-то виднее... Тело-то здорово и даже толсто, да что в том проку, а душа уже как бы какою корой обрастает. Вижу, что нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически; народу то потворствуют и мирволят в его дурных склонностях, то внезапно начинают сборы податей, и поступают тогда беспощадно, говоря при сем, что сие „по царскому указу“. Дивно, что всего сего как бы никто не замечает, к чему это клонит.

27 марта. Запахло весной, и с гор среди дня стремятся потоки. Дьякон Ахилла уже справляет свои седла и собирается опять скакать степным киргизом. Благо ему, что его это тешит: я ему в том не помеха, ибо действительно скука неодоленная, а он мужик сложения живого, так пусть хоть в чем-нибудь имеет рассеяние.

23 апреля. Ахилла появился со шпорами, которые нарочно заказал себе для езды изготавить Пизонскому. Вот что худо, что он ни за что не может ограничиться на умеренности, а непременно во всем достарается до крайности. Чтоб остановить его, я моими собственными ногами шпоры эти от Ахиллиных сапог одним ударом отломил, а его просил за эту пошлость и самое наездничество на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под епитимьей. Да что же делать, когда нельзя его не воздерживать. А то он и мечами препояшется.

2 сентября. Дьячок Сергей сегодня донес мне, что дьякон ходит по ночам с ружьем на охоту и застрелил двух зайцев. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякону изрядно намылил голову.

9 сентября. Однако с этим дьяконом немало хлопот: он вчера отстегал дьячка Сергея ремнем, не поручусь, что, может быть, и из мщения, что тот на него донес мне об охоте; но говорит, что будто бы наказал его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его до суда тех архиерейских слуг, коих великий император изволил озаглавить „лакомыми скотинами“ и „несытыми татарами“, я призвал к себе и битого и небитого и настоятельно заставил их поклониться друг другу в ноги и примириться, и при сем заметил, что дьякон Ахилла исполнил сие со всею весьма доброю искренностью. В сем мужике, помимо его горячности, порой усматривается немало самого голубиноного незлобия.

14 сентября. Дьячок Сергей, придя будто бы за наполом для капусты, словно невзначай донес мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях силача и великана, будет на представлении дьякон Ахилла. Прегнусный и мстительный характер у сего Сергея.

15-го Я пошел посмотреть это представление и, не будучи сам видим, все достаточно хорошо сам видел сквозь щелочку в задних воротах. Ахилла, точно, был, но более не зрителем, а как бы сказать актером. Он появился в большом нагольном овчинном тулупе, с поднятым и обвязанным ковровым платком воротником, скрывавшим его волосы и большую часть лица до самых глаз, но я, однако, его, разумеется, немедленно узнал, а дальше и мудрено было бы

кому-нибудь его не узнать, потому что, когда привозный комедиантом великан и силач вышел в голотелесном трике и, взяв в обе руки по пяти пудов, мало колеблясь, обнес сию тяжесть пред скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: „Но что же тут во всем этом дивного!“ Затем, когда великан нахально вызывал бороться с ним и никого на сие состязание охотников не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо в оный, обвязанный вокруг его головы, ковровый платок, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся: то сей гнется, то оный одолевает, и так несколько минут; но наконец Ахилла сего гордого немца сломал и, закрутив ему ноги узлом, наподобие как подают в дворянских домах жареных пулярок, взял оные десять пудов да вдобавок самого сего силача и начал со всем этим коробом ходить пред публикой, громко кричавшею ему „браво“. Дивнее же всего Ахилла сделал этому финал: „Господа! – обратился он к публике, – может, кто вздумает уверять, что я кто другой: так вы ему сделайте милость, плюньте, потому что я просто мещанин Иван Морозов из Севска“. Кто-то его, изволите видеть, будто просил об этом объяснении! Но, однако, я всем этим весьма со скуки позабавился. Ах, в чем проходит жизнь! Ах, в чем уже и прошла она! Идучи назад от сараев, где было представление, я впал в нервность какую-то и прослезился – сам о чем не ведая, но чувствуя лишь одно, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумая молодые свои широкие планы и посравню их с продолженною мною жизнью моею! Мечтал некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь мою, уже хотя не за деланием во внешности, а самоусовершенствованием собственным; но не философ я, а гражданин; мало мне сего: нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности, и от сего не всегда осуждаю живые наклонности моего любезного Ахиллеса. Бог прости и благослови его за его пленительную сердца простоту, в которой все его утешает и радует. Сергею-дьячку сказал, что он врет про Ахиллу, и запретил ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всею отеческою слабостию полюбил сего доброго человека.

14 мая 1861 года. В какие чудесные дела может попадать человек по легкомыслию своему! Комплект шутников у нас полон и без дьякона Ахиллы, но сей, однако, никак не в силах воздержаться, чтобы еще не пополнять его собою. Городничий у тестя своего, княжеского управителя Глича, к шестерику лошадь торговал, а тот продать не желает, и они поспорили, что городничий добудет ту лошадь, и ударили о заклад. Городничий договорил за два рубля празднующегося мещанина Данилку, по прозвищу „комиссара“, дабы тот уворовал коня у господина Глича. Прилично, видите, сие городничему на воровство посылать, хотя бы и ради потехи! Но что всего приличнее, это было моему Ахилле выхватиться с своею готовностью пособлять Данилке в этом деле. Сергей-дьячок донес мне об этом, и я заблаговременно взял Ахиллу к себе и сдал его на день под надзор Натальи Николаевны, с которою мой дьякон и провел время, сбивая ей в карафине сливочное масло, а ночью я положил его у себя на полу и, дабы он не ушел, запер до утра всю его обувь и платье. Утром же сегодня были мы все пробуждены некоторым шумом и тревогой: проскакала прямо к крыльцу городничего тройкой телега и в ней комиссар Данилка между двумя мужиками, кричащий как оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего он так кричит, и нашли, что Данилку освобождали от порт, начиненных стрекучею крапивою. Оказывается, что господин Глич его изловил, посадил в крапиву, и слуги его привезли сего молодца назад к пославшему его. Я указал дьякону, что если б и он разделял таковую же участь с Данилкой и приехал назад, как карась весь обложенный крапивою, приятно ли бы это ему было? Но он отвечал, что не дался бы – что хотя бы даже и десять человек на него напали, он бы не дался. „Ну, – говорю, – а если бы двадцать?“ – „Ну, а с двадцатью, – говорит, – уж нечего делать – двадцать одолеют“, – и при сем рассказал, что однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившею партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока, „и произошла, –

говорит, – тут между нами великая свалка, и брата Финогешу убили“. Как это наивно и просто! Что рассказ, то и событие! Ему „жизнь – копейка“.

29 сентября 1861 года. Приехал из губернии сын никитской просвирни Марфы Николаевой Препотенской, Варнава. Окончил он семинарию первым разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал в духовное звание, коротко отвечал, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев сего глупого ответа, я сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ни ничтожным сего человека и все его мнения почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитой осой. Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его степень, дабы глупец всякий над ним не глумился и враг отчизны сему не радовался? Видно, правду попадя моя сказала, что, „может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался“. Встречаю с некоей поры частые упоминания о книге, озаглавленной „О сельском духовенстве“ и, пожелав ее выписать, потребовал оную, но книгопродавец из Москвы отвечает, что книга „О сельском духовенстве“ есть книга запрещенная и в продаже ее нет. Вот поистине гениальная чья-то мысль: для нас, духовных, книга о духовенстве запрещена, а сии, как их называют, разного сорта „нигилисты“ ее читают и цитируют!.. Ну что это за наругательство над смыслом, взаправду!

22 ноября. Ездил в губернию на чреду. При двух архиерейских служениях был сослужащим и в оба раза стоял ниже отца Троадия, а сей Троадий до поступления в монашество был почитаем у нас за нечто самое малое и назывался „скорбноглавым“; но зато у него, как у цензора и, стало быть, православия блюстителя и нравов сберегателя, нашлась и сия любопытная книжка „О сельском духовенстве“. О, сколько правды! сколько горькой, но благопотребнейшей правды! Мню, что отец Троадий не все здесь натканное с апробацией и удовольствием читает.

14 декабря. За ранней обедней вошел ко мне в алтарь просвирнин сын, учитель Варнавка Препотенский, и просил отслужить панихиду, причем подал мне и записку, коей я особого значения не придавал и потому в оную не заглянул, а только мысленно подивился его богомольности; удивление мое возросло, когда я, выйдя на панихиду, увидел здесь и нашу модницу Бизюкину и всех наших ссыльных поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкой, ибо я тотчас же все понял, когда Ахилла стал по записке читать: „Павла, Александра, Кондратья...“ Прекрасная вещь со мною сыграна! Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов, ибо сегодня и день был тот, когда было восстание. Вперед буду умнее, ибо хотя молиться за всех могу и должен, но в дураках как-то у дураков дважды быть уж несогласен. Причту своему не подал никакого виду, и они ничего этого не поняли.

27 декабря. Ахилла в самом деле иногда изобличает в себе уж такую большую легкомысленность, что для его же собственной пользы прощать его невозможно. Младенца, которого призрел и воспитал неоднократно мною упомянутый Константин Пизонский, сей бедный старик просил дьякона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравлению для городского головы, а Ахилла, охотно взявшись за это поручение, натвердил мальчишке такое:

Днесь Христов родился,
А Ирод-царь взбесился:
Я вас поздравляю
И вам того ж желаю.

Нет; против него необходима большая строгость!

11 января 1863 года. Лекарь, по обязанности службы, вскрывал одного скоропостижно умершего, и учитель Варнава Препотенский привел на вскрытие несколько учеников из уездного училища, дабы показать им анатомию, а потом в классе говорил им: „Видели ли вы тело?“ Отвечают: „Видели“. – „А видели ли кости?“ – „И кости, – отвечают, – видели“. – „И все ли видели?“ – „Все видели“, – отвечают. „А души не видали?“ – „Нет, души не видали“. – „Ну

так где же она?...“ И решил им, что души нет. Я конфиденциально обратил на сие внимание зрителя и сказал, что не премину сказать об этом при директорской ревизии.

Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом – не сладил; воевал с поляками – не сладил, теперь ладь с этою дуростью, ибо это уже плод от чресл твоих возрастает. Сладишь ли?... Погадай на пальцах.

2 февраля. Болен жабой и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный и со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается, а причина сему такая. Отец Захария в прошлый урок в третьем классе задал о Промысле и истолковал его и стал сегодня отбирать заданное; но один ученик, бакалейщика Лялина сын, способнейший мальчик Алиоша, вдруг ответил, что „он допускает только Бога творца, но не признает Бога промыслителя“. Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей юный богослов основывает свое заключение, а тот отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, неправосудно будто бы посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма плохие судьи, и подкрепил свои слова указанием, что если бы мы во грехах наших вечны были, то и грех был бы вечен, все порочное и злое было бы вечно, а для большего вразумления прибавил пример, что и кровожадный тигр и свирепая акула были бы вечны, и достаточно сим всех убедил. Но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошел туда и там при малютках опроверг отца Захарию, сказав: „А что же бы сделали нам кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны?“ Отец Захария, по доброты своей и ненаходчивости, только и нашелся ответить, что „ну, уж о сем люди умнее нас с тобой рассуждали“. Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал; а я, как назло, все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, в коем подозреваю учителя Варнаву.

13 января. Сколь я, однако, угадчив! Алиоша Лялин выпорон отцом за свое вольнодумное рассуждение и, плача под лозами, объявил, что сему вопросу и последующему ответу научил его учитель Препотенский. Негодую страшно; но лекарь наш говорит, что выйти мне невозможно, ибо у меня будто рецидивная анги́на⁵, и затем проторю дорожку ad patres⁶, а сего бы еще не хотелось. Писал зрителю записку и получил ответ, что Препотенскому, в удовлетворение моего требования, сделано замечание. Да, замечание! за растление умов, за соблазн малых сих, за оскорбление честнейшего, кроткого и, можно сказать, примерного служителя алтаря – замечание, а за то, что голодный дьячок променял псалтырь старую на новую, сажают семью целую на год без хлеба... О, роде лукавый!

18 января. Препотенский, конечно, поощрился только этим замечанием и моего отца Захарию совсем заклевал. Этот глупый, но язвительный негодяй научил ожесточенного лозами Алиошу Лялина спросить у Захарии: „Правда ли, что пьяный человек скот?“ – „Да, скот“, – отвечал ничтоже сумняся отец Захария. „А где же его душа в это время, ибо вы говорили-де, что у скота души нет?“ Отец Захария смутился и ответил только то, что: „а ну погоди, я вот еще и про это твоему отцу скажу: он тебя опять выпорет“. Для Господа Бога скажите, ведь становится серьезным вопросом: что делать с этим новым супостатом просвирниным сыном и учителем пакостей Варнавою.

⁵ Ангина (лат.).

⁶ К предкам (лат.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.